
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1758 год

Падение канцлера Бестужева. - Отношения великой княгини Екатерины Алексеевны к императрице. - Сношения с Австриею насчет военных действий. - Занятие Восточной Пруссии русскими войсками. - Движение Фермора к Одеру. - Бомбардирование Кистрина. - Битва при Цорндорфе. - Движение Фермора в Померанию. - Замечания конференции насчет его распоряжений. - Письмо к нему Воронцова. - Отступление Фермора к Висле. - План кампании будущего года. - Сношения с союзными дворами австрийским и французским. - Сношения с Англиею и Польшею. - Саксонский принц Карл получает герцогство Курляндское. - Дела турецкие. - Распоряжение относительно Черногории. - Поведение черногорцев в Москве. - Внутренняя деятельность правительства. - Финансовые распоряжения. - Торговля. - Волнения монастырских крестьян. - Вопрос об управлении церковными имениями. - Составление Уложения. - Комиссия об однодворцах. - Дела на окраинах.

Начало 1758 года было ознаменовано важным событием, которое подготовлялось уже два года, - свержением великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина.

Мы видели, в какое затруднительное положение был поставлен канцлер переменою европейской политики в 1756 году, англопрусским союзом, с одной стороны, и австро-французским - с другой. Самолюбие, нежелание признать свою ошибку, отвердевшая в старине система, по которой Франция вследствие противоположности интересов никогда не могла быть союзницею России, закоренелая ненависть к Франции и боязнь пред ее послом не позволили Бестужеву вдруг переменить своих отношений: отвернуться от Англии и стать ревностным поборником французского союза; он слишком явно защищал Англию, слишком неохотно соглашался на сближение с Франциею и этим стал подозрителен в глазах императрицы; кредит его упал; вице-канцлер Воронцов мимо его производил самые важные сношения, через него последовало сближение с Франциею, и французский посол приехал в Петербург, остереженный от своего двора опасаться более всего канцлера и его интриг. Австрия враждебно относилась к Бестужеву за его сопротивление французскому союзу. Кауниц, который считал этот союз своим делом и ждал от него бесчисленной пользы, - Кауниц выразился пред французским послом в Вене, что не забудет тех затруднений, которые делает ему Бестужев. Таким образом, кроме русских врагов у Бестужева в Петербурге было еще теперь

два сильных врага иностранных - Эстергази и Лопиталь, а помощи ниоткуда.

Легко понять, как при таких обстоятельствах должен был осторожно действовать Бестужев. Мы видели, как обеспокоили его толки о медленности Апраксина и как он старался побудить его идти как можно скорее. Еще более должно было обеспокоить отступление Апраксина после победы, возбудившее бурю в Петербурге. От 13 сентября канцлер писал ему: "Я уже, ваше превосходительство, имел честь чрез Петра Ив. Панина поздравить одержанною над неприятелем победою. А теперь на ваше писание ничего иного ответственать не имею, кроме того, что я крайне сожалею, что армия под командою вашего превосходительства, почти во все лето недостаток в провианте имея, наконец хотя и победу одержала, однако ж принуждена, будучи победительницею, ретироваться. Я собственному вашему превосходительству глубокому проницанию предаю, какое от того произойти может бесславие как армии, так и вашему превосходительству, особливо ж когда вы неприятельские земли совсем оставите".

Но Апраксин отступал, и ожесточение против него становилось все сильнее и сильнее. Из французского и австрийского посольства пошли слухи об интриге, и пошли по всей Европе. Бехтеев писал Воронцову из Парижа 26 сентября: "Мы во всю сию неделю были в великом беспокойстве; после 19 августа писем мы из Петербурга не имели, а из Голландии такие получали ведомости на двух почтах, что только об них подумать, так ужас берет. Одним словом, все несчастья по тем ведомостям у нас сделались; по причине оных и армия пошла из Пруссии с великою торопостию, будто уже ретировалась, оставя множество пушек. Весь город наполнен был сим дурным слухом". Основанием дурного слуха послужил припадок, случившийся с императрицею. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, Елисавета, жившая в Царском Селе, пошла к обедне в приходскую церковь, в начале службы почувствовала себя дурно и одна вышла из церкви, но, не дошедши до дворца, упала на землю и более двух часов лежала без чувств. Этот случай привели в связь с отступлением Апраксина, начали догадываться, толковать, что Бестужев дал знать о нем Апраксину и потребовал возвращения его в Россию с войском, которое было нужно канцлеру для приведения в исполнение его намерений относительно престолонаследия. Разумеется, кто мог внимательно и спокойно вникнуть в дело, тот должен был понять, что догадка не имеет никакого основания, что припадок с императрицею случился 8 сентября, а отступление решено было на военном совете 27 августа; что если бы была возможность остановиться и идти вперед, то как мог Апраксин не сделать этого по получении стольких строгих указов и узнавши, что императрица оправилась? Что Апраксин ничего не делал сам собою, а только исполнял решения военного совета и как было предположить, что из всех генералов и полковников, подававших голоса на совете, не было ни одного честного человека и патриота, что все они требовали отступления, хотя и знали, что

войско может идти вперед, не нуждаясь в провианте и фураже? Но много ли было таких, которые могли вникнуть в дело внимательно и, главное, спокойно? Известно, как падка толпа на предположения, что при каждом важном и неприятном событии действовала интрига злой умысел. А тут сколько было побуждений для подобного предположения: иностранные союзники были озлоблены на Апраксина, отступление которого расстраивало их планы, облегчало Фридриха II, поднимало его дух, освобождало от боязни русского нашествия, давало Левальду возможность перевестись с шведами, а русские вторили иностранцам вследствие оскорбленного патриотизма.

Апраксин во дворце и в конференции нашел себе сильного защитника в графе Петре Ив. Шувалове; но сильнее всех нападал на него канцлер Бестужев, во-первых, из желания прекратить толки о своем участии в отступлении, во-вторых, из враждебного чувства к Апраксину, которое явилось в нем именно вследствие сильного заступничества Шувалова: канцлеру было ясно, что Апраксин очень близок и дорог Шувалову, следовательно, Шувалов считал его вполне себе преданным. Враги Бестужева толковали, что канцлер замешан в дело об отступлении, а Бестужев толковал, что виноват во всем Шувалов; он так защищает Апраксина перед императрицею, что тот не боится никакой ответственности и делает что хочет.

Шувалов, несмотря на всю свою силу, не мог отстоять Апраксина, который должен был сдать начальство над армиею генералу Фермору. Мы видели, что новый главнокомандующий совершенно оправдывал старого и многие были недовольны этим назначением, говорили, что дурные советы Фермора были виною отступления Апраксина и что гораздо лучше было бы дать главное начальство генералу Броуну. Назначение Фермора объясняли единственно особенною милостью к нему императрицы. Но кроме милости было и другое основание назначению: первые военные успехи - занятие Мемеля и Тильзита - были соединены с именем Фермора.

18 октября 1757 года Апраксин получил указ ехать в Петербург и писал императрице, что указ этот "совершенно отчаянную жизнь вновь ему возвратил". В начале ноября Апраксин приехал в Нарву и получил чрез ординарца лейб-кампании вице-капрала Суворова высочайшее обнадеживание монаршею милостию, причем приказано ему отдать все находящиеся у него письма. Причиною этого отобрания писем были письма к Апраксину великой княгини, о которых проведали таким образом: Бестужев, получая их от Екатерины для пересылки Апраксину, показывал их саксонскому советнику посольства Прассе и приезжавшему в Петербург австрийскому генералу Буккову для успокоения их насчет доброго расположения молодого двора к общему делу, потому что в них Екатерина убеждала Апраксина спешить походом. Букков рассказал об этих письмах Эстергази, и теперь, когда захотели повредить Апраксину и Бестужеву

вместе, Эстергази сообщил об этой переписке великой княгини с Апраксиным самой императрице, представив это дело очень опасным.

Прошло месяца полтора после отобрания писем; Апраксин все жил в Нарве. 14 декабря он решился написать умиловительное письмо императрице: "Последнейший ваш раб, представя бедность моего состояния, в котором я, бедный, чрез шесть недель здесь пребывая, не только совсем своего лишился здоровья и потерял разум и память, но и едва поднесь мой дух сдержаться во мне мог, и поднесь едва ногою владеть могу, приемлю дерзновение, не принося никаких оправданий, высочайшего и милосерднейшего помилования просить. Как пред Богом вашему величеству доношу, что если мною что погрешено, то всеконечно разве от неведения и недостатка разумения; причем и то могу донести, что во всей армии не было ни одного такого человека, который бы не хотел пролить последней капли своей крови за соблюдение высочайших интересов и во исполнение воли вашего величества, и во все советы, где только важность и обстоятельства требовали, призыван был весь генералитет, который, не исключая никого, все свои старания распространял к пользе, и ничего мною в противность примечено не было. Правда, что до соединения с генералом Фермором генерал Ливен по испытанному знанию в военном искусстве во всех советах был мне довольным советником; но по соединении с генералом Фермором, с коего времени пошли главные дела, по особливой его ко мне ласке и ежедневному два раза ко мне приезду, паче же по известной мне вашего императорского величества к нему особливой милости и доверенности, я ничего не предпринимал, не поговоря и не посоветовав наперед с ним, еже во многих генералах, как еще и генерал Лопухин жив был, немалую произвело зависть; но я, елико моему смыслу и рассуждения было, столько умеривал, что не допустил ни до чего дальнего и никаких ссор и неудовольствий не токмо не видал, ниже слышал. А в наилучшее доказательство сего осмелюсь еще то донести, что и о возвращении нашем от Аленбурга я первому открыл генералу Фермору и, посоветовав с ними и не открывая никому, с ним одним согласно сие положила, созвав военный совет и приглася полковников, уже сие предложение сделал, почему и согласно от всех положено поворотить к Тильзиту. Я во всем том самом Фермором свидетельствуюсь".

Понятно, что ссылка на Фермора служила Апраксину лучшим оправданием: нельзя было у одного отнять звание главнокомандующего за то самое, за что другого возводили в это звание. У Фермора не нужно было спрашивать, правду ли говорил Апраксин о согласии его на отступление. Запискою 14 октября Фермор решительно признал распоряжения Апраксина необходимыми, и те, которые говорили против назначения Фермора, были последовательны. Но о последовательности не могло быть речи: Апраксин не подвергался опале за отступление, он был жертвою, принесенною для успокоения союзников, для поддержания общего дела; разумеется, Апраксин был бы достаточно вознагражден за эту роль жертвы, если б все дело состояло в отступлении. Но дело состояло теперь в

переписке великой княгини с Апраксиным. Письма сами по себе не могли бы быть поставлены в вину ни писавшей, ни получившему их; но зачем сношения, переписка между этими лицами? Не было ли каких-нибудь других внушений со стороны Екатерины? Канцлер, подозрительный канцлер служил посредником!

В январе 1758 года начальник Тайной канцелярии Александр Ив. Шувалов отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчет переписки, как видно, ничего особенного не вышло из этих разговоров: носился слух, что Апраксин дал клятвенное заявление, что он никаких обещаний молодому двору не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело должно было остановиться. Императрица обходилась холодно с великой княгиней, холодно с канцлером. Против Бестужева кроме переписки были и другие причины неудовольствия. Польско-саксонский двор, принимая в соображение неудовольствие императрицы и требования Франции и Австрии, решился отозвать Понятовского из Петербурга, но Бестужев воспротивился этому и настоял на своем; кроме того, Бестужев выхлопотал польский орден Белого Орла для тайного советника Штамке, заведовавшего голштинскими делами при великом князе, и было известно, что Штамке - доверенный человек Бестужева. Рассказывали и о проекте канцлера относительно престолонаследия, говорили, что конференц-секретарь Волков, бывший долго доверенным человеком у Бестужева, открыл теперь о существовании этого проекта врагам канцлера. Но все эти догадки, что Бестужев удержал Понятовского, выхлопотал Штамке Белого Орла, слух, что у Бестужева есть какой-то план относительно престолонаследия, - все это еще не могло повести к свержению канцлера, все ограничивалось раздражением и неприятными толками. Но Англия, которая подкопала значение Бестужева в 1756 году прусским союзом, - Англия должна была дать повод и к окончательному низвержению главного ее доброжелателя в России. Пришло известие, что Англия не хочет оставить петербургский двор без своего представителя после отъезда Уильямса и назначила Кейта, бывшего послом в Вене. Это известие, разумеется, должно было страшно встревожить французского и австрийского послов в Петербурге, особенно первого; как прежде Уильямс волновался от приезда французского посла, так теперь Лопиталь волновался от приезда Кейта; помешать приезду Кейта не было никакой возможности, потому что Россия не разрывала с Англией, надобно было готовиться к ожесточенной борьбе; борьба не была бы так опасна, если б Кейт не встретил в Петербурге могущественного союзника в главном лице по дипломатическим сношениям - в великом канцлере. Нельзя освободиться от Кейта, да Кейт один и не опасен, - надобно освободиться от Бестужева, возможность есть: он заподозрен, императрица не благоволит к нему более, он окружен могущественными врагами, враги сами нейдут на явную борьбу, потому что не чувствуют в руках хорошего оружия для верного поражения противника; надобно их заставить сковать оружие, надобно их напугать, заставить действовать по инстинкту самосохранения. Нападение было сделано удачно, потому что

выбрано для него самого слабое место. Как только узнали в Петербурге, что Кейт уже в Варшаве, то Лопиталь едет к Воронцову и представляет ему необходимость нанести последний удар Бестужеву; а если Воронцов не хочет принять в этом участия, то он, Лопиталь, едет сейчас же к Бестужеву, открывает ему все и соединяется с ним для низвержения Воронцова. Испуганный Воронцов соглашается действовать вместе, поддерживать у императрицы внушения Лопиталья против Бестужева. Так рассказывает Кейт в донесении своему двору. Но есть другое известие, в сущности несколько не противоречащее первому; по этому известию, Лопиталь является к Воронцову и говорит ему: "Граф! Вот депеша, только что полученная мною от моего двора; в ней говорится, что если в пятнадцать дней великий канцлер не будет заменен вами, то я должен обратиться к нему и не иметь более сношения с вами". Это известие вероятнее в своих подробностях: Лопиталь попадал в самое чувствительное место Воронцова, настаивая на деле самом простом и понятном, не выставляя никакого личного отношения, а защищая достоинство своего двора, требуя для себя выхода из странного положения: до сих пор французский посол должен был вести дело с вице-канцлером, а не с канцлером, что было неблагоприятно, казалось чем-то подпольным; временно можно было на это согласиться в ожидании перемены главного министра вследствие перемены политики, но если все останется по-прежнему, то французский посол должен вести дело с канцлером. Что же касается до угрозы открыть все (что все?) канцлеру и соединиться с ним для свержения Воронцова, то эта угроза слишком груба. По второму известию, Воронцов, задетый за живое, отправился к Ивану Шувалову, и вместе представили императрице, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, т. е. что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице. Но понятно, что это представление, ловко бившее на самолюбие Елисаветы и подкрепленное указанием на дело Понятовского, не могло быть одно. Надобно было убедить Елисавету, что против Бестужева существуют важные подозрения; удалить его от дел по одним подозрениям нельзя; но уличить его можно, только арестовав его, захвативши бумагу и доверенных людей. Арест канцлера и следствие над ними были решены. Есть другое известие, показывающее, каким образом Елисавета была еще подготовлена к этому решению, раздражена против Бестужева. Эстергази доносил своему двору, что великий князь обратился к нему с жалобами на канцлера и Эстергази дал ему совет обратиться прямо к императрице. Елисавета была очень тронута, что племянник обратился к ней по родственному, с полною, по-видимому, откровенностию и доверенностию; никогда она не была так ласкова с ним, и Петр, раскаиваясь в прошедшем своем поведении, складывал всю вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев.

В субботу вечером 14 февраля Бестужев был арестован, когда явился в конференцию, и отведен под караулом в собственный дом. Великая княгиня, проснувшись на другой день, получила записку от Понятовского: "Граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей; с ним

арестованы ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и Ададуров". Первая мысль Екатерины по прочтении записки была та, что беда ее не минует. Бернарди, умный, ловкий итальянец, по своему ремеслу был вхож во все дома; почти все были ему что-нибудь должны, почти всем он оказал какую-нибудь маленькую услугу. Так как он постоянно бегал по домам, то ему, давали поручения; записки, посланные с ним, доходили скорее и вернее, чем отправленные с слугою; и великой княгине он служил таким же комиссионером. Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, был другом Понятовского и очень привязан к великой княгине, равно как и Ададуров, учивший ее русскому языку. Вечером были две знатные свадьбы. На балу Екатерина подошла к князю Никите Трубецкому и спросила его: "Что это у вас за новости: нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, чем преступлений?" "Мы сделали то, что нам приказано, - отвечал Трубецкой, - преступления еще отыскивают, и до сих пор неудачно". Потом Екатерина подошла к фельдмаршалу Бутурлину, который сказал ей: "Бестужев арестован, а теперь мы ищем причины, за что его арестовали".

На другой день к великой княгине пришел Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтоб она не боялась, все сожжено: дело шло о проекте относительно престолонаследия. Записку принес музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груды кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева Штамке должен был также дать знать Бернарди, чтоб тот при допросах показывал сущую правду и потом дал бы знать Бестужеву, о чем его спрашивали. Но эта переписка арестантов скоро прекратилась: чрез несколько дней рано утром входит к великой княгине Штамке, бледный, изменившийся, и объявляет, что переписка открыта, музыкант схвачен и, по всем вероятностям, последние письма в руках людей, которые стерегут Бестужева.

Штамке не обманулся: письма очутились в следственной комиссии, наряженной по делу Бестужева; она состояла из трех членов: фельдмаршалов князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова; секретарем был Волков. Следственное дело о Бестужеве не имеет полноты, некоторых ответов подсудимого нет, нет первого допроса и ответов. Из дела видно, что допросы уже сделаны были 26 февраля, и ответами бывшего канцлера императрица осталась недовольна, почему на другой день, 27 февраля, Бестужеву было объявлено: "Ее императорское величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее, спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и непрямота совести и долга очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем". 27 числа Бестужеву был предложен вопрос: "Для чего он предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много у великого князя и скрыл от ее императорского величества такую

корреспонденцию (переписку Екатерины с Апраксиным), о которой по должности и верности донести надлежало?" Бестужев отвечал: "У великой княгини милости не искал, паче же старался с ведения ее императорского величества открывать ее письма, ибо тогда великая княгиня была предана королю прусскому, Швеции и Франции по тогдашней системе; но как с год тому времени или с полтора переменяла ее высочество совсем свое мнение и возненавидела короля прусского и шведов, кроме токмо что короля, дядю своего, весьма любит, то канцлер старался не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, дабы она и великого князя на такие ж с ее императорским величеством согласные мнения привела, о чем великая княгиня и трудилась, но сколько ему сказывала, что труды ее разрушаются, присовокупляя этому немецкую пословицу "Was ich baue, das reissen die andern nieder" (что я строю, то другие разрушают) и упоминая, что то делают наипаче полковник Броун, природный пруссак, обер-камергер Брокдорф и другие, около великого князя находящиеся офицеры, о чем он, канцлер, и ее императорскому величеству в то время доносил, но только о том не упомянул, что он все сии обстоятельства от великой княгини ведает". На основании записки, посланной к великой княгине из-под ареста, был сделан вопрос: "Советуешь ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью, присовокупляя, что подозрениями ничего доказать невозможно. Нельзя тебе не признаться, что сии последние слова особенно весьма много значат и великой важности суть, итак чистосердечное оных изъяснение паче всего потребно". Бестужев отвечал: "Великой княгине поступать смело и бодро с твердостью я советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали".

В допросах сильно настаивалось на частых и необычайных конференциях канцлера с Штамке и Понятовским. Бестужев клялся, что таких конференций не бывало. Но его продолжали допрашивать: "Так как Штамбек и Понятовский были в беспрестанных и необычайных конференциях, всемерно надобно, чтоб и больше в том участников и конфиденентов было; и потому имеешь без утайки объявить всех оных, а притом и то не скрыть, что понеже все сие без всякого намерения делано быть не могло, то спрашивается: не было ли соглашаемо и постановлено какого плана как на нынешнее, так и на будущее время?" Так как в бумагах Бестужева не найдено никаких следов проекта о престолонаследии, то хотели принудить его проговориться, настаивая на частые свидания с Штамке и Понятовским. Но Бестужев держался твердо, зная, что улики нет, а подозрениями ничего доказать невозможно. Он отвечал даже прямее, чем был поставлен вопрос: "Ни с Штамбеком, ниже с Понятовским и другими какими конфиденентами, коих у меня и не было, не думывал ни о каком плане ни на нынешнее время, ниже на будущее, да и возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено".

Поставили странный вопрос: "Ее императорскому величеству точно известно, что когда случалось ее величеству разговаривать с послами, то

ты всегда великого князя ободрял или научал туда же подходить, дабы таким разговорам мешать или останавливать оные. И потому желает ее императорское величество только о том ведать, какое ты имел в том намерение или побуждение". "Богом свидетельствуюсь, - отвечал Бестужев, - что того никогда не думывал; но статья может, что, однако, не памятую, что как иногда великий князь удалялся, то я ему показывал, что такое удаление неприлично, а особливо что великий князь, вступая иногда тем временем в разговоры с малыми людьми, оными совсем заставлялся".

Ответами, разумеется, были недовольны, и 4 марта Бестужеву именем императрицы повторено было требование, чтоб признавался искреннее, повторена была и прежняя угроза. Спрашивалось: "Показал ты, якобы великой княгине поступать смело и бодро с твердостью советовал ты только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали; но понеже ты к тому присовокупил точные слова, что подозрениями ничего доказать невозможно, то из сего ясно, что ты надежду свою только в том полагаешь, якобы прямых доказательств не будет, а впрочем, уже признаешься, что к подозрениям много причин подано; итак, имеешь ты точно объявить, чего подозрениями доказать невозможно, також и то, против кого советуешь ты поступать смело и бодро с твердостью. Клятва твоя, якобы ни с Штамбеком ни с Понятовским не имел ты никаких в необыкновенное и ночное время конференций, возбуждает паче всего праведный гнев ее императорского величества, обличает твое упорство и наказания достойную надежду хитростью, коварством и интригами заглазить те преступления, в коих ты уже страдаешь. Ее императорское величество так точно и подлинно знает, что Понятовский и Штамбек были у тебя почти ежедневно и во всякое суток время и сживали очень долго, что о том и не спрашивает, но хочет только, дабы ты, не обинуясь и не ища околичностей, прямо объявил, в чем сии конференции состояли, ибо об них ее императорскому величеству такими записками доносимо не было, как ты доносил всегда о бытности у тебя других министров. Через кого ты сведал, что великая княгиня вдруг свои мысли переменяла и, возненавидя короля прусского и шведов, любит токмо весьма короля, своего дядю, и что за причина была такой скоропостижной перемены? Каким образом открылась тебе великая княгиня толь много, что именовала тебе всех тех, кои развращают великого князя, когда ты говоришь, что милости ее никогда не искал? Точно известно ее императорскому величеству, что много курьеров отправлено было отсюда тобою к гетману в Украину, и потому точно объявить имеешь, кто были те курьеры, сколько их всех было, с чем и когда посланы. Что кавалерию Белого Орла для Штамбека выпросил ты у короля польского, о том ее императорскому величеству точно известно, итак, спрашивается только, по чьему отсюда прошению ты то делал и для чего. Сверх тех писем, о которых ты уже винился, что получал от великой княгини чрез Бернардия, известно ее императорскому величеству еще гораздо больше таковых, как от ее высочества к тебе, так и от тебя к ее высочеству чрез того ж Бернардия переносимо было, и потому

надлежит тебе показать, в чем точно состояла сия переписка, где теперь все сии письма, для чего пересылаемы были они не прямым каналом, но толь непозволительным образом и для чего не доносил ты о том никогда ее императорскому величеству, буде сжег, то для чего? Его высочеству великому князю говорил ты, что ежели его высочество не престанет таков быть, каков он есть, то ты другие меры против него возьмешь; имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в великом князе перемены и какие другие меры принять думал".

Бестужев постарался как можно подробнее объяснить свои отношения к польско-саксонскому двору, потому что неискренность в этом отношении *паче всего* возбуждала гнев императрицы. "Будучи графом Брюлем остережен о данной маркизу Лопиталю секретной инструкции стараться здесь о моем низвержении, - отвечал он, - искал я чрез польский двор подать о себе лучшие мнения французскому и венскому дворам и чрез то избавиться от их гонений. Посол граф Эстергази открылся датскому здесь умершему министру Малцану и бывшему здесь шведскому полковнику графу Горну, а они оба ему (Бестужеву): 1) что он, Эстергази, своим кредитом и представлениями то сделал, что соизволила ее импер. величество учредить при дворе своем конференцию, дабы канцлер не имел больше в делах такой силы, как прежде. 2) Что будто ее импер. величество не принимает никакой важной резолюции, не посоветовавшись прежде с ним, послом. 3) Что он представлял ее импер. величеству, дабы при будущих с Франциею переговорах канцлер совсем исключен был, ибо-де на него полагаться нельзя, паче же опасаться надобно, что он всякие препоны делать будет по своей преданности Англии. Сверх того, датский посланник Остен нашел все то в депешах ко двору своего предцессора Малцана и уведомил о том графа Понятовского, который послу графу Эстергазию и выговаривал, для чего он так канцлера гонит, но Эстергази Понятовскому во всем заперся, а сказывал, напротив того, что будто ее импер. величество ему отзывалася, что хочет канцлера исключить из переговоров с Франциею, а он, Эстергази, будто, напротив того, представлял, что, конечно, надобно, чтоб канцлер был еще при совершении всех тех переговоров, кои к твердому установлению нынешней системы потребны будут, или-де разве уже лучше его от всех дел отставить".

Хотели подробностей, и Бестужев не поспешил на них; но эти подробности могли быть неприятны только одному Эстергази, которого бывшему канцлеру вовсе не нужно было щадить.

Ответов Бестужева на другие вопросы в деле нет. Мы уже заметили, что следственное дело не имеет полноты; впоследствии, когда по воцарении Екатерины II Бестужев снова находился в приближении, то следственное дело было в его руках, на что указывают оставшиеся на нем заметки его руки. Так, относительно вопроса о пересылке с гетманом Разумовским читаем две заметки: 1) "Для примечания и известия, что о сем секрете никому известно быть не могло, кроме Теплова: он единственно, зляся на

Елагина и Бестужева, тайным доносителем был". 2) "Тоже примечания достойно, что о сем, кроме Теплова, никому известно не было; ежели он подобно тому в новом тайном совете (о чем еще примечательно неизвестно) поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностию, чистою совестью и искусством Адауров превосходить будет". Но это обстоятельство, что следственное дело было потом в руках Бестужева, не дает нам права предполагать, что некоторые ответы уничтожены в деле самим Бестужевым; скорее должно думать, что они не внесены секретарем Волковым, как потом именно жаловался Бестужев, что Волков многие ответы его, служившие к оправданию, отрекался записывать и не принимал их. Это должно было именно случиться с теми ответами, которые обличали странность вопросов. Так, что могло быть страннее допытывания: объяви, чего подозрениями доказать неможно и против кого советовал ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью? Разумеется, Бестужев должен был отвечать победоносно, что все дело затеяно по неосновательным подозрениям, которыми ничего доказать нельзя, и что он советовал великой княгине сохранять бодрость для избежания подозрения, а не против кого-нибудь. Смешон также другой вопрос: через кого Бестужев узнал, что великая княгиня переменяла мысли, каким образом она так много ему открылась? Ответ был ясен: узнал от нее самой, а указала она на людей, которые препятствуют доброму делу, желая заявить, что она этому делу содействует; впрочем, Бестужев мог и отказаться отвечать на подобные вопросы и потребовать, чтоб о внутренних побуждениях Екатерины спрашивали у нее самой, а не у него.

Также не вносились ответы, которые подавали повод к новым вопросам и повторялись в них. 7 марта Бестужев должен был отвечать на новые вопросы: "В ответе твоём в 4 сего месяца ты показал, якобы только один пакет, присланный к тебе из гетманского дома, переслал ты к нему в Украину с почтальоном, и то из Москвы. Но как ее импер. величеству точно известно, что больше от тебя к нему отправлений было, и буде не нарочных почтальонов, то эстафет, и притом ты уже признался, что ведал о прилагаемом великою княгинею старании Апраксина с гетманом примирить, то, конечно, ты объявить должен, сколько всех отправлений от тебя к гетману было, в чем оные состояли, откуда к тебе пакеты для того приношены и чрез кого, также с каким об отправлении их прошением? Весьма разгневана ее импер. величество, что ты продолжаешь запираяться и в таких делах, коих признание не подвержено никакому следствию и о коих ее импер. величество наилучше известна. Ты показал, якобы ни тебя никто не просил, ни ты в Варшаве не домогался о присылке кавалерии Белого Орла Штамбкёну. Ее импер. величеству и то известно, что по твоему научению составлен здесь и тот рескрипт, на который ты ссылаешься и который здесь Понятовским о сей кавалерии предъявлен. Итак, из единого милосердия хочет токмо, хотя в одном пункте, видеть чистое твое признание. Повелевает ее импер. величество, дабы ты обстоятельно объявил, каким образом Апраксин вошел в такой кредит у великой княгини и кто его в оный ввел!"

И на эти вопросы ответов не сохранилось. В одном признался Бестужев: на вопрос, для чего он старался удержать в Петербурге Понятовского, он отвечал: "Подлинно, после получения графом Понятовским его отзыва, старался и чрез саксонского советника посольства Прасса остановить его, Понятовского, здесь; но ни к графу Брюлю, ни к князю Волконскому о том не писал, а сие искание происходило только для того, что, видя на себя гонение графа Эстергази и маркиза Лопиталья, желал по меньшей мере одного благоприятного иметь себе министра, а толь больше графа Понятовского, что уведомлял меня обо всем, что услышит от графа Эстергази и Лопиталья".

В деле находится еще вопрос зачеркнутый: "Известно тебе, что 8 сентября минувшего года в Царском Селе имела ее импер. величество некоторый припадок болезни. А, напротив того, памятно тебе, что Апраксин, стоя под Тильзитом, имел намерение сие место укрепить, так что принятое потом, вдруг 14 и 15 чисел в ночь намерение, все бросая, с поспешением назад идти, справедливую причину подает не только подозревать, но и несомненно верить, что, конечно, он о помянутом припадке уведомлен был. И потому имеешь ты показать, не ты ли его о сем уведомил, или хотя не ведаешь ли ты, что кто-либо другой то сделал". Понятно, что Трубецкой, Бутурлин и Шувалов не позволили Волкову предложить такого вопроса и велели зачеркнуть его в деле, ибо это значило заподозрить, привлечь к суду всех генералов и полковников, участвовавших в военных советах, особенно главнокомандующего Фермора, который прямо заявил о необходимости отступления.

Следователи жаловались императрице на отсутствие искренности в показаниях Бестужева, на то, что он запирается с клятвами и для окончательного подтверждения правды своих показаний приобщился св. таин, после чего дальнейшее следствие бесполезно. Написали вины: 1) клеветал ее импер. величеству на их высочеств, а в то же время старался преогорчить и их высочеств против ее импер. величества. 2) Для прихотей своих не только не исполнял именные ее импер. величества указы, но еще потаенными происками противился исполнению оных. 3) Государственный преступник он потому, что знал или видел, что Апраксин не имеет охоты из Риги выступить и против неприятеля идти и что казна и государство напрасно истощаются, монаршая слава страдает, не доносил о том ее импер. величеству. Оскорбитель он величества, что вместо должного о том донесения вздумал, что может то лучше исправить собственно собою и вплетением в непозволенную переписку такой персоны, которой в делах никакого участия иметь не надлежало, и чрез то нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем делался. 4) Будучи в аресте, открыл письменно такие тайны, о которых ему и говорить под смертную казнию запрещено было. За все эти вины комиссия считала Бестужева достойным смертной казни, но предавала все дело монаршему соизволению и милосердию.

Решения долго не было; Бестужев все содержался под арестом в собственном доме. 2 января 1759 года Бестужева вызывали в комиссию, для того чтоб показать ему золотую табакерку с портретом великой княгини и спросить, откуда получил. Бестужев отвечал прямо, что табакерку подарила ему сама великая княгиня во дворце на куртаге за несколько месяцев до его ареста. Это было последнее, что оставалось у следователей; в апреле дело кончилось ссылкой Бестужева в одну из его деревень, именно Горетово Можайского уезда; все недвижимое имущество оставлено за ним, но были взысканы казенные долги. Фельдмаршал Апраксин был переведен из Нарвы поближе к Петербургу, в местность, называемую Четыре Руки, и здесь ему были деланы допросы. Понятно, что в их числе мы не встретим допросов о причинах возвращения к границам после Грос-Егерсдорфской битвы: дело было окончательно решено объяснениями нового главнокомандующего Фермора. Допросы касались переписки Апраксина с Бестужевым и великою княгинею; из ответов обнаруживалось одно: что и канцлер, и великая княгиня побуждали его идти скорее в поход, тогда как прежде в Петербурге оба они были другого мнения. Апраксин оказывался виноват в том, что не имел охоты выступить из Риги и состоял в непозволенной переписке с великою княгинею. Конечно, были рады и этим двум винам, иначе отнятие у него начальства над войском не имело бы оправдания. Апраксин умер внезапно 6 августа 1758 года. Других причастных к делу - Веймарна и Ададунова - наказали почетною ссылкой: первого определили к сибирской военной команде, второго назначили в Оренбург товарищем губернатора. Штамке был выслан за границу; Бернади сослан на житье в Казань; Елагин - в казанскую деревню.

Но сильно причастна была к делу великая княгиня Екатерина; недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежали в основании допросов и бывшему канцлеру, и бывшему главнокомандующему. Хотя Екатерина не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать, несмотря, однако, на то, положение ее было тяжело: подозрениями ничего нельзя было доказать, но подозрения могли оставаться в голове императрицы; да и кроме подозрения Екатерина знала, как Елисавету должно было раздражить ее вмешательство в дела и значение, ею приобретенное; главнокомандующий, зная решительные намерения государыни, колеблется, сдерживается в их исполнении противоположными желаниями великой княгини. Гнев императрицы, и сильный гнев, несомненен, и где искать защиты от этого гнева, кто предложит его на милость? Люди преданные пали, судятся как государственные преступники, враги торжествуют, великий князь настроен крайне враждебно, в чем, по свидетельству Екатерины, виноват был приближившийся к Петру голштинiec Брокдорф: говоря об Екатерине, Брокдорф выражался: "Надобно раздавить змею". Эстергази доносил своему двору, что великая княгиня два раза присылала к нему Штамке за советом и помощью, давая знать, что все беды постигли ее за усердие к

интересам Марии-Терезии. "Но так как, - писал Эстергази, - императрица Елисавета горько жаловалась мне на поведение Екатерины и так как иностранный министр не должен вмешиваться в домашние дела государей, то я отклонил от себя это дело, велевши сказать ей, что всего лучше, если она обратится к посредничеству своего супруга, владеющего полною милостью и доверенностью императрицы". Легко понять, как после такого совета, походившего на самую злую насмешку, должна была Екатерина относиться к Эстергази. Будущее очень мрачно; одно средство выйти из тяжкого положения - это обратиться прямо к Елисавете, которая очень добра, которая не переносит вида чужих слез и которая очень хорошо знает и понимает положение Екатерины в семье. Рассказывали, что Ив. Ив. Шувалов уверил великую княгиню, что императрица скоро увидится с нею и если со стороны Екатерины будет оказана маленькая покорность, то все дело кончится очень хорошо: известие очень вероятное, потому что фаворит старался всюду быть примирителем. С другой стороны, ходили слухи, что великую княгиню удалят из России, слухи несбыточные, потому что Елисавета никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину; но тем лучше, можно отнять у врагов эту угрозу и обратить ее против них самих, переменить оборону в наступление: Екатерину беспрестанно оскорбляют, ей жизнь в России стала невыносима, так пусть дадут ей свободу выехать из России. Великая княгиня пишет императрице письмо, в котором, изображая свое печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровье, просит отпустить ее лечиться на воды и потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России. После этого письма Елисавета обещала переговорить лично с великою княгинею; посредничество духовника императрицы ускорило свидание.

Свидание происходило за полночь. В комнате императрицы кроме нее и великой княгини находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Увидавши императрицу, Екатерина бросилась перед нею на колена и со слезами стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела ее поднять, но Екатерина не вставала. Если Ив. Ив. Шувалов советовал ей оказать немного покорности, то она употребила сильный прием и тем скорее достигла своей цели. На лице Елисаветы была написана печаль, а не гнев, на глазах блистали слезы. "Как это мне вас отпустить? Помните, что у вас дети!" - сказала она Екатерине. Та ловко затронула другую нежную сторону человеческого сердца. "Мои дети, - отвечала она, - на ваших руках, и лучшего для них желать нечего, я надеюсь, что вы их не оставите". "Но что же я скажу другим, за что я вас выслала?" - спросила Елисавета. "Ваше императорское величество, - ответила Екатерина, - изложите причины, почему я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя". "Чем же вы будете жить у своих родных?" - спросила Елисавета. "Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда", - отвечала Екатерина. Елисавета в другой раз велела ей встать, и Екатерина послушалась.

Елисавета отошла от нее в раздумье. Она чувствовала, что потерпела поражение от женщины, которая стояла перед нею на коленях; надобно было собрать силы для нападения. Но это было трудно сделать, и атака поведена была в расстройстве, в беспорядке. Елисавета подошла к великой княгине с упреками: "Бог свидетель, как я плакала, когда по приезде вашем в Россию вы были при смерти больны, а вы потом не хотели мне кланяться как следует, вы считали себя умнее всех, вы вмешивались во многие дела, которые вас не касались, я бы не посмела этого делать при императрице Анне. Как, например, смели вы посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?" "Я! - отвечала Екатерина. - Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказания". "Как, - возразила императрица, - вы будете запереться, что не писали к нему? Ваши письма там (она показала их пальцем на туалете). Ведь вам было запрещено писать". "Правда, - отвечала Екатерина, - я нарушила это запрещение и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения". "А зачем вы ему это писали?" - прервала ее императрица. "Затем, - отвечала Екатерина, - что очень его любила и потому просила его исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье - поздравление с Новым годом". "Бестужев говорит, что было много других писем", - сказала на это Елисавета. "Если Бестужев это говорит, то он лжет", - отвечала Екатерина. Тут Елисавета употребила нравственную пытку, чтоб вынудить признание. "Хорошо, - сказала она, - если он на вас лжет, то я велю его пытать". Но Екатерина не испугалась и отвечала: "В вашей воле сделать все то, что признаете нужным; но я писала только эти три письма к Апраксину". Елисавета ничего не сказала на это.

Она, по своему обычаю, ходила по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к великому князю, но всего чаще к Шувалову. Весь этот разговор, длившийся полтора часа, производил на нее тяжелое впечатление, но не раздражал ее. Великий князь, напротив, высказал сильное ожесточение против жены. Он старался раздражить и Елисавету против нее, но не достиг цели, потому что в его словах слишком резко выражалась страсть. Наконец, императрица, подошедши к Екатерине, сказала ей тихонько: "Мне много нужно было бы сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить". "Я также, - отвечала Екатерина, - не могу говорить, как ни сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу". Елисавета была очень тронута этими словами, слезы навернулись у нее на глазах, и, чтоб другие не заметили, как она растрогана, она отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно: действительно, было около трех часов утра. Вслед за Екатериною императрица послала Александра Шувалова сказать ей, чтобы не горевала, что она в другой раз будет говорить с нею наедине. В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате под предлогом нездоровья. Она в это время читала пять первых томов Истории путешествий с картою на столе. Когда она уставала от этого чтения, то

перелистывала первые томы французской энциклопедии. Скоро она имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовавши сама отпуска из России: к ней явился вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, ибо это намерение сильно печалит императрицу и всех честных людей, в том числе и его, Воронцова. Он обещал также, что императрица будет иметь с нею вторичное свидание. Обещание было исполнено. Императрица потребовала прежде всего, чтоб Екатерина отвечала ей сущую правду на ее вопросы, и первый вопрос был: действительно ли она писала только три известные письма к Апраксину? Екатерина поклялась, что только три.

Окончание дела во дворце между императрицею и великою княгинею, разумеется, имело необходимое влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. До нас дошла переписка Екатерины с одним из сосланных - Елагиным. Екатерина посылала ему деньги и ласкала себя надеждою скорого освобождения и ссылки. "По теперешней перемене, - писала Екатерина, - иного предмета не имею, как наискорей вас освободить, и покамест к вам посылаю для первого случая 300 чер. Надеюсь получить благополучный успех, но в первом моменте еще об том упомянуть нельзя было. *Homme d'or* (золотой человек) здесь, и хороший ему прием, и мы все не оставим о вас упомянуть; будь здоров и уверен, что невинность и усердие твои век из ума не выдут". В другом письме Екатерина говорит: "*Неподвижного* редко вижу, и канала почти нет, но со всем с тем не пропущу ему напомнить и подвигать ко всему тому, что вам полезно будет".

Среди этих дворцовых событий распоряжение о деятельном продолжении войны не останавливалось. Неудачи, претерпенные Австриею в конце 1757 года, потеря Бреславля заставили венский двор домогаться в Петербурге, чтоб русское войско как можно скорее вступило опять в Пруссию или отправлен был бы тридцатитысячный отряд через Польшу на помощь наследственным землям императрицы-королевы. Эстергази в этом требовании был подкреплён французским послом Лопиталем и королевско-польскими министрами. На конференции положено было отвечать, что вместо одного или другого ее величество исполнит вместе и то и другое желание императрицы-королевы: генералу Фермору уже велено как можно скорее привести в движение войско, и он, несмотря на суровое время года, находится в походе для занятия Пруссии; но кроме того, велено обсервационный корпус, состоящий из лучших и отборных людей, отправить в поход через Польшу под начальством генерал-аншефа графа Салтыкова, и под ним будут начальствовать генерал-поручики граф Чернышев и князь Долгорукий, из которых первый выбран особенно потому, что императрица-королева удостоила его своим одобрением. Австрийский двор должен как можно скорее дать знать, к какому месту должен идти этот союзный корпус, и принять меры, чтоб он прежде соединения своего с австрийскими войсками не был настигнут и разбит

прусским королем. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место до начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы-королевы полезнее. Это именно может быть сделано в Силезии или ниже, у Франкфурта-на-Одере; тогда, во-первых, поход сильно бы сократился; во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус; в-третьих, генерал Фермор, занявши Пруссию, будет распространять свои операции до Померании, чтоб подкрепить операцию шведской армии; генерал Броун, имея уже теперь указ подвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию, а если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. Атаковать короля прусского в этих местах такими тремя корпусами, которые и сами по себе сильны, и находятся в таком друг от друга расстоянии, что могут помогать один другому, кажется единственным или надежнейшим средством разделить силы прусского короля и заставить его вести только оборонительную, а не наступательную войну. Мария-Терезия отказалась от вспомогательного корпуса. Между тем от 3 января получено известие о занятии Фермором города Тильзита, амтов Руса и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию пятью колоннами под начальством генералов Салтыкова 2-го, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Фермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии - Кенигсберга с просьбою принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий, и на другой день русское войско вступило в Кенигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу, по башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди и отдавали честь ружьем. Фермор был назначен генерал-губернатором королевства Прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. Эстергази получил приказание требовать, чтоб дальнейшее занятие прусских земель делалось именем императрицы-королевы, "дабы не подать повода другим дворам к размышлению, а притом чтоб можно было различить воюющую сторону от помощной". На это дан был ответ: "Отношения наши к королю прусскому вовсе, кажется, не требуют таких предосторожностей. Декларацию его, против нас изданную, сочтут непрямым объявлением войны только такие люди, которые не захотят прямо ее разуметь. Мы объявили при всех дворах, что для доставления союзникам нашим надлежащей помощи нет другого способа, как прямо действовать против прусского короля, а потому все дворы, кажется, должны быть равнодушны к тому, чьим бы именем прусские земли ни были заняты. Для нас довольно иметь убеждение, что наши союзники, а императрица-королева особенно, зная наши чувства, отдадут нам справедливость и не подумают, чтоб мы под видом помощи им пеклись

только о своей пользе. Что касается присяги, к которой приводятся жители прусских земель, покоренных нашему оружию, то справедливость и надобность ее оказываются при первом взгляде, ибо мы требуем только, чтоб жители ни тайно, ни явно не предпринимали против нас ничего предосудительного".

Наступил май, время приступать к решительным действиям, и венский двор забил тревогу. "Общие неприятели, - писала Мария-Терезия Эстергази, - продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет, потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуража и доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций минет бесплодно". На сообщение этих опасений Эстергази отвечал: "Если обстоятельства не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли. Занятие Пруссии последовало в такое время, с такими издержками и усилиями, что стоит нам не менее целой кампании. Сверх того, здесь готовы были и требуемый корпус в 30000 человек отправить во владения императрицы-королевы; и действительно, он уже находился в походе, когда произошла отмена согласно желанию ее величества. Теперь этот корпус уже близко к остальному войску, с которым должен соединиться, и надобно надеяться, что скоро придет в движение вся армия, которая и без того находится по большей части за Вислою. И внешнее время никак нельзя почитать потерянными, ибо дальнейший поход требует бесчисленных приготовлений; сюда присоединились несчастья: неурожай хлеба и фуража, и теперь вследствие необыкновенно сухой и холодной погоды трава еще из земли не показывается".

В июне Мария-Терезия снова торопила русское войско и писала в рескрипте своем к Эстергази: "Теперь все зависит от того, чтоб русские войска долее в бездействии не оставались, но скорыми своими действиями подкрепили и оживотворили движения союзников. Приятели и неприятели с нетерпением этого ожидают; и если обнадеживания ее величества императрицы исполнятся, то неприятель придет в сильное беспокойство и покинет свои дальновидные замыслы и чрез это умножится бодрость как всех союзников, так и нас самих. Россия имеет в руках возможность общему и ей столько же, как и нам, опасному неприятелю нанести смертельный удар, и сделать это тем легче и надежнее, что прусский король не может собрать достаточной армии для отпора русским силам, хотя бы он и получил успех в Моравии. Все это ты должен представить петербургскому двору в самых сильных выражениях: собственная его честь, слава и благополучие зависят теперь от его совершенных или несовершенных операций, и что теперь упущено будет, то уже потом нельзя будет поправить".

Новый главнокомандующий русскою армиею Фермор знал по печальному опыту предшественника, что при плохом устройстве провиантской части делать быстрые движения нельзя, и знал, что в случае медленности он будет иметь главных врагов в австрийцах, которые будут кричать против него в Петербурге и по всей Европе и складывать на русское войско вину собственных неудач. Вот почему, приняв начальство над войсками, Фермор заручался в Петербурге милостивцами, которые бы защитили его в случае нужды; так, он писал Воронцову: "Понеже оный главный пост (главнокомандующего) требует великой ассистенции милостивых патронов, того ради беру смелость вашего сиятельства просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать и недостатки мои мудрыми вашими наставлениями награждать".

22 мая Фермор извещал, что готов к выступлению из Восточной Пруссии; 20 июня он был у Познани и 1 июля выступил от этого города прямо на запад, к бранденбургской границе, куда, именно к местечку Мезеричу, вся армия пришла 15 числа. Отсюда хотели было прямо идти к Франкфурту-на-Одере, но недостаток провианта и фуража и порча упряжки вследствие продолжительных дождей заставили подумать, продолжать ли поход в этом направлении. На военном совете австрийский генерал барон С. Андрэ, по-прежнему находившийся при русском войске, был такого мнения, что лучше всего австрийской армии держаться около Лузации, а русской оставаться у Франкфурта-на-Одере или у Кроссена и там по возможности стараться перейти Одер для соединения с австрийцами, чтоб неприятель не мог напасть на русских, не подвергая себя опасности подвергнуться с тыла нападению австрийцев. Но главнокомандующий и генерал-поручики Солтыков, князь Голицын и Чернышев возражали, что в указанной местности нет нисколько фуражу, а лошади в таком плохом состоянии, что не могут подвозить провианта. Надобно потому перейти у Ландсберга через реку Варту, потом, остановясь у Кистрина, послать один корпус в окрестности Швета и учредить как можно, скорее главный магазин в Старгарде, давая между тем отдых лошадям, чтоб можно было пройти в окрестности Франкфурта и подать помощь австрийской армии. Если же шведское войско приблизится к городу Швету, то русскому войску спешить к Одери, навести мосты и, соединясь с шведами, идти далее в неприятельские земли, чтоб отвлечь прусского короля от Силезии. С. Андрэ согласился с этим мнением. Поэтому армия приняла направление к северу и 28 июля расположилась у Ландсберга. 4 августа русские подошли к Кистрину и калеными ядрами сожгли город, но крепость не сдалась; она защищалась двумя реками - Вартою и Одером - и каналами; чтоб окружить ее, русским нужно было растянуть свое войско на большом пространстве, на что Фермор не мог решиться вблизи прусского корпуса, командуемого графом Дона.

В ответ на донесение о бомбардировании Кистрина Фермор получил такой рескрипт: "Счастливо произведенное вами в действие предприятие против Кистрина не только приобретает вам совершенную нашу похвалу и

одобрение и не только с точностью соответствует нашим предписаниям, нашим надеждам на ваше военное искусство, на ваше усердие и ревность, но отчасти и превосходит наши ожидания. Пусть крепость Кистрин не взята, пусть и не будет принуждена к сдаче переходом вашим через Одер и пресечением ей сообщения с прусским корпусом графа Дона; довольно и предовольно того, что примерною храбростию нашего войска неприятельское войско уstraшено, земские жители потерю своего свезенного в город имения научены полагаться больше на наши обнадеживания и оставаться спокойно в своих домах, чем полагаться на защиту своего войска, а истреблением обширного магазина, содержавшего с лишком 600000 четвертей хлеба, конечно, сделано будет великое препятствие неприятельскому плану, если пруссаки будут принуждены позволить вам утвердиться в тамошних местах на безопасных зимних квартирах".

От 24 августа послан был Фермору другой рескрипт: "Теперь самое критическое время, в которое нынешняя война, слава и благосостояние государств решиться могут. С одной стороны, фельдмаршал граф Даун теперь уже глубоко в Лузании, если еще не вступил в Бранденбург. С другой стороны, король прусской употребит все силы предупредить графа Дауна и воспрепятствовать вашему с ним соединению. Нельзя ручаться, не предпримет ли король твердого намерения во что бы то ни стало на вас напасть и так разбить, чтоб после легко ему было противиться одному графу Дауну. Наконец, что менее всего вероятно, не вздумается ли королю по примеру чудного его во всем поведении обратиться в Польшу, чтоб там завести смуту в свою пользу и удалить театр войны от собственных земель? На все эти три случая мы не можем теперь здесь подать вам пространнейшие наставления; надеемся, что вы будете всегда в состоянии сдерживать неприятельское стремление и утвердиться в Померании на зимних квартирах - одним словом, совершить славную кампанию. Старайтесь только прилежно проводить о неприятельских движениях, почему одобряем, что вы блезевскому аббату Иосифу Локу дали поручение посылать вновь шпионов".

Надежда не исполнилась. Фридрих II находился в австрийских владениях, когда узнал о вторжении русских в Бранденбург. *Скоропостижный* король немедленно двинулся с войском на защиту своих основных владений. Во Франкфурте-на-Одере услышал он гром русских пушек, обстреливавших Кистрин, и неслышно от Фермора в одну ночь перешел Одер несколько верст ниже Кистрина и отрезал Фермора от Румянцевского корпуса, находившегося вниз по Одере по направлению к Швету. Фермор узнал о приближении короля, когда толпа козаков наткнулась на прусских гусар; 20 козаков было взято в плен, остальные ускакали и привезли в главную квартиру известие, что пруссаки уже по сю сторону Одера. Фермор немедленно снял осаду Кистрина и расположил войско на выгодном месте подле деревни Цорндорф. Русская армия была расположена по-миниховски - большим каре, внутри которого находились обоз и конница.

14 августа в 9 часов утра началось сражение нападением пруссаков на правое крыло русской армии. Здесь стоял новонабранный Шуваловым так называемый наблюдательный корпус, люди отличные, но никогда не бывавшие в огне. Несмотря на то, они не дрогнули от прусской стрельбы и сдержали стремление прусских гренадер, а русская конница расстроила их и заставила податься назад, 26 неприятельских пушек было уже в русских руках. Но движение конницы произвело страшную пыль, которая вместе с дымом относилась ветром на вторую русскую линию, которая ничего не могла различить и стреляла по своей коннице сзади, а спереди явилась прусская конница под предводительством генерала Зейдлица; русская конница была опрокинута на свою пехоту, в пыли и дыму русские перемешались с пруссаками, и началась страшная резня, в которой русские солдаты удивили неприятелей своею стойкостью: расстрелявши все патроны, они стояли как каменные, их можно было перебить, но не обратить в бегство. Но было и другое печальное явление: часть солдат бросилась на маркитантские бочки с вином и начала их опустошать; напившись, в беспамятстве били собственных офицеров, бродили, ничего не понимая, и не слушались никаких приказаний. Полдненное солнце палило прямо в лицо русским, пыль и дым ослепляли их. Все это повело к окончательному расстройству правого крыла. Во втором часу дня король велел двинуться своим на левое русское крыло; нападение было отбито и пруссаки обращены в бегство. Но тот же Зейдлиц с конницею явился и тут на помощь своим и восстановил равновесие. Битва пошла отчаянная. С обеих сторон пороху не доставало, дрались на шпагах и штыках, и дрались до наступления темноты. Оба войска, выбившись из сил, ночевали на месте битвы; ни то, ни другое не могло приписать себе победы. Но на другой день Фермор отступил первый и тем дал пруссакам повод приписать победу себе. Потеря с русской стороны была страшная: с лишком 20000 выбыло из строя, потеряно более ста пушек, более 30 знамен. Генерал-поручики Салтыков и граф Чернышев, генерал-майор Мантейфель и два бригадира - Тизенгаузен и Сиверс - попались в плен; старик генерал-аншеф Броун получил больше 17 ран по голове. У пруссаков выбыло из строя 12000 человек да потеряно 26 пушек. Король не имел возможности преследовать Фермора и отступил в Кистрин.

25 августа приехал в Петербург полковник Розен с известием о "генеральной и жестокоей баталии", бывшей 14 числа. "Пополночи в 9 часу, - доносил Фермор, - началась баталия непрерывною пушечною пальбою и продолжалась полтора часа, а потом загорелся из мелкого ружья огонь, который, пушечною ж пальбою подкрепляемый, продолжался до самой ночи, в которое время неколикократно по переменам одна сторона другую сбивала и места своего не уступала, пока напоследок в 10-м часу прусская армия российской место баталии уступила, где российская чрез ночь собралась и не токмо в виду прусской ночевала, но на другой день имела рощах, собирая своих раненых и пушек, сколько неприятель допускал. Урон раненых из генералитета, штаб - и обер-офицеров весьма знатен, токмо по краткости времени точно показать невозможно. Я не в

состоянии вашему императ. величеству о поступках генералитета, штаб - и обер-офицеров и солдат довольно описать, и еще бы солдаты во все время своим офицерам послушны были и вина потаенно сверх одной чарки, которую для ободрения выдать велено, не пили, то б можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательна, и тако донести должен, что в рассуждении великого урона, слабости людей и за неимением хлеба принужден сегодня (15 августа) до тяжелых наших обозов и хлеба 7 верст до Грос-Камина следовать, а потом до Ландсберга, где надеюсь с третьею дивизиею, при Швете стоящею, соединиться и субсистенцию армий сыскивать по реке Варте. Денежная казна поныне почти вся сохранена, и дела секретной экспедиции купно со всеми цифирными ключами сожжены. Его высочество принц Карл (саксонский) и генерал С. Андрэ, не дождавшись совершенного окончания баталии, знатно заключая худые следствия, ретировались в Швет. Я при сем неудачном случае по моей рабской должности всевозможные меры употреблять не оставлю".

Дополнением к известиям о Цорндорфской битве служит дело, начатое по доносу волонтера русской армии польского шляхтича Казновского на бригадира Стоянова. Казновский показывал: 14 августа после битвы вечером он и Стоянов съехались вместе и Стоянов сказал: "Какой-то лютеранин, командующий генерал, поставил армию под ветер и всю погубил; только бы время пришло удобное, съехался бы с ним и застрелил; а теперь куда нам деваться? Мужики нас прибьют! Лучше сыскать трубача и ехать в Кистрин". Генерал-майор Панин вместе с Стояновым и многими другими действительно поехали в Кистрин; но Панин одумался и стал говорить Стоянову: "Поедем вместе назад в лагерь". Стоянов отвечал: "Поезжайте куда хотите, а я еду своею дорогою, жаль, что уже ночь наступила". Разговаривая таким образом, все опять поехали лесом; тут же и грузинского полка священник усиленно просил, чтоб в Кистрин не ездили. Из лесу приехали в прежний русский лагерь при Кистрине; тогда один пехотный подполковник опять начал говорить, что выехали уже к Кистрину и потому надобно опасаться прусских гусар; и Панин тотчас повернул налево от Кистрина, вместе с ним поехали и другие; помедлив немного и видя, что никто с ним в Кистрин не едет, поехал за ними же и Стоянов, и ночью приехали все к русским обозам.

Стоянов показал, что не помнит, говорил ли приводимые Казновским слова о Ферморе, только не имел намерения убивать его, иначе не отбивал бы Фермора от неприятеля: когда пруссаки начали нашу армию обходить, то приказано было ему, Стоянову, атаковать их с сербским гусарским полком, что он и сделал и был в самом неприятельском фрунте, но от превосходной силы неприятеля отступил и перешел на правый фланг русской армии. Потом опять с хорватовым полком послан был атаковать неприятельскую артиллерию, что исполнял до того времени, как началась генеральная баталия, во время которой он был на левом фланге. Когда неприятель усилился, фрунт наш сбили и сперва правый фланг пошел на ретираду, а

потому и вся армия пошла к лесу, то и он, Стоянов, приехал к лесу; в это самое время увидел он, что Фермора окружили неприятельские гусары и кирасиры, которых он с малым числом своих гусар отогнал и Фермора избавил от смерти или плена. Потом поехал вдоль места битвы, где увидел Панина со многими офицерами. Панин, держась за живот, говорил, что жестоко ранен и бригада его вся пропала, просил, чтоб Стоянов сыскал ему место, где бы перевязать рану. Стоянов отвез его в деревню поблизости от русского правого фланга и, оставя его здесь, намерен был ехать искать Фермора; но Панин говорил ему, что тут остаться нельзя: опасно от неприятеля. Тогда Стоянов, осердясь, сказал ему единственно в шутку: "Куда мне с тобою деваться? Так поедem в Кистрин!", и поехали. Стоянову хотелось отыскать обоз и там оставить Панина для перевязки раны. Между тем наступила ночь; Панин спросил: "Куда же мы едем?" Стоянов опять в шутку отвечал: "В Кистрин". Панин сказал на это: "Теперь в Кистрин ехать поздно, лучше поедem в лес", а Стоянов говорил: "В лесу беда, наедут мужики и нас палками побьют". Панин сказал: "Вот есть трубач!", а Стоянов в шутку отвечал: "Поезжай трубить вперед к Кистрину и скажи, что едут генерал Панин и бригадир Стоянов". Между этими разговорами приехали к обозу.

Стоянов был освобожден от всякого наказания по неосновательности доноса; но и Казновскому выдано 200 червонных за ревность.

На реляцию свою о "неудачном случае" Фермор получил такой рескрипт от императрицы: "Через семь часов сряду храбро сделанное превосходящему в силе неприятелю сопротивление, одержание места баталии и пребывание на оном даже на другие сутки, так что неприятель, и показавшись, и начав уже стрельбою из пушек, не мог, однако же, чрез весь день ничего сделать и ниже прямо атаки предпринять, суть такие великие дела, которые всему свету останутся в вечной памяти к славе нашего оружия, к особенной похвале генералитета и к знаменитой вам яко главному командиру заслуге. Претерпленный великий урон признаваем мы с должным благоговением соизволением Божиим вся во благо устрояющего провидения. Следствия того состоят также в святой его власти, и мы с равномерным должным благодарением примем и самое от благодеющей его руки наказание, ежели будет его на то воля. Но мы еще всегда на его ж неисчерпаемые щедроты уповаем, что паче помилует, опечалит, возвеселит и, ослабя, укрепит. Имейте вы и в самом, ежели б случилось, несчастии равный с нами дух мужества и твердости, вселяйте его вашим подчиненным и всему воинству, утешьте раненых нашим матерным об них сожалением и теплым желанием о их выздоровлении, не меньше ж и тем, что заслуги всех и каждого будут у нас в незабвенной памяти и без достойного награждения не останутся. Обнародуйте сей наш указ во всей армии, дабы все видели, коль велико наше милосердие к достойным оного, и дабы, видя сию милость, те, кои по малодушию или инако не совсем исполнили свою должность, чувствовали, колико им о поправлении того стараться надобно и коль несравненно благополучнее и завистливее

жребий тех, кои с толикою славою и с вечною пред создателем заслугою жизнь свою скончали пред теми, кто оказал бесчестную робость".

16 августа на рассвете в виду неприятеля русская армия выступила с поля битвы и шла семь верст каре; артиллерию, как свою, так и взятую у неприятелей, солдаты везли на себе за неимением достаточной упряжки, раненых козаки везли в тороках на заводных лошадях. Прусское войско не трогалось, и в 9 часу Фермор благополучно прибыл к Грос-Камину, где на несколько дней остановился в крепком лагере. "18 числа, - доносил Фермор, - всевышнему за его милосердное помилование благодарный молебен пет, а по окончании оногo пушечная пальба производима была; неприятель також викторию праздновал, пальба оногo с четверть часа нашу предварила". После этого Фермор двинулся далее к Ландсбергу и соединился с отрядом графа Румянцева: тут войска у него оказалось 40000, кроме гусар и козаков. В Петербурге были довольны этим движением; довольны и решением военного совета - не помышлять об отступлении, действовать оборонительно, пока окажется удобный случай перейти к наступательному действию. Но в великой и основательной заботе находилась императрица, как говорил ее рескрипт, что не видала в реляциях Фермора никакого объяснения насчет будущего, хотя позднее годовое время требовало принятия мер решительных. "В большей мы заботе оттого, - говорилось далее в рескрипте, - что видим вас самих, несмотря на близость неприятеля, почти в совершенном неведении о его силе и положении и что вы, прежде чем что-либо начать, ожидаете наших указов на отправленные вами после баталии реляции, хотя эти указы по отдаленности должны всегда опаздывать, да и не могут вас удовлетворить, потому что в отправленных вами после баталии реляциях находилось только самое краткое об ней упоминание, причем ни мнения вашего не представлено, ни сделано такого тамошних обстоятельств описания, по которому бы здесь можно было распорядиться надежно и основательно. Хотим, однако, сколько можно, на чрезвычайную краткость ваших реляций подать вам пространное и обстоятельное объяснение наших мнений. Если б корпус графа Дона, слабый до соединения с ним королевского войска, вами был атакован и хотя не совершенно разбит, однако в слабость и расстройство приведен, то, конечно, король прусский не имел бы такой выгоды вас атаковать и должен был бы привести гораздо больше войска, чем облегчил бы австрийского фельдмаршала графа Дауна и дал бы ему больше возможности с вами соединиться, или должен был бы возвратиться через Силезию в Богемию, дабы отвлечь туда и Дауна. Так и теперь если оставленный против вас корпус будет вами разбит и за реку Одер прогнан, то вы останетесь в полной свободе и беспечности, будете по своему произволу располагать неприятельскими землями по сю сторону Одера. Если же, напротив, корпус графа Дона против вас на этой стороне реки останется, то надобно будет опасаться еще более вредных следствий. Во-первых, занятие зимних квартир будет подвержено большим затруднениям; неприятель нарочно будет долго стоять в лагере, чтоб дурною погодою изнурять нашу армию. Второе и важнейшее: если граф Дона останется на

этой стороне Одера, то король опять может прийти к нему и атаковать вас соединенными силами. Нам очень приятно ваше заявление, что главное попечение ваше состоит в занятии зимних квартир в неприятельской земле; но не скроем, что ваши упоминания слегка, как бы мимоходом о таких важных предметах нас очень беспокоят, а теперь еще больше, потому что время позднее. Что касается присланных вами планов последней баталии, то по краткости присоединенного к ним описания нельзя не только сочинить обстоятельной реляции, которой от нас весь свет ожидает, но и никакого ясного для себя представления сделать. План прошлогодней баталии гораздо подробнее был: там видно, который полк и когда дрался и что после чего происходило. Видно и здесь расположение полков, но о действиях их совершенно умолчено, а мы больше всего вам рекомендовали не держать нас в неведении о том, которые полки и кто из генералитета наиболее отличились. Когда же ожидать нам столь нужного сведения, если не при этом великом и редком деле? На одном из планов видим, что авангард прусской армии стоит гораздо ближе к вам, чем к своему войску, и так как вовсе не видно, какие меры принимались вами вследствие такого обстоятельства, то нас беспокоит это слишком недостаточное сведение ваше о состоянии неприятеля, вследствие чего вам надобно всегда опасаться нечаянных от него нападений. Мы всемерно желаем:

1) чтоб зимние или кантонир-квартиры для армии нашей заняты были в бранденбургских землях и, буде можно, по реке Одере.

2) Чтоб Кольберг, как место очень нужное для пропитания нашей армии, взят был как можно скорее. 3) Чтоб корпус графа Дона был не только как можно скорее прогнан за Одер, но и совершенно был разбит. Избегайте таких резолюций, какие во всех держанных в нынешнюю кампанию военных советах были принимаемы, а именно с прибавлением ко всякой резолюции слов: если время, обстоятельства и неприятельские движения допустят. Подобные резолюции показывают только нерешительность. Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли".

Кроме этих жестких замечаний, написанных в конференции, Фермор получил от вице-канцлера графа Воронцова перевод со статьи о состоянии русского войска, написанной каким-то иностранцем еще при Апраксине. Воронцов писал при этом, что сочинитель статьи, должно быть, долго при нашей армии был явным шпионом, и предлагал главнокомандующему рассмотреть - между многими лжами не указал ли он и действительного какого-нибудь недостатка в армии, чем можно и воспользоваться. "Я не могу от вашего сиятельства скрыть, - писал Воронцов, - что все почти считают великим недостатком множество обозов в нашей армии, также и то, что мы иррегулярных своих войск с пользою употреблять не умеем. Правда, трудно на место принятых и долгое время наблюдаемых обыкновений вводить новые; я понимаю, что ваше сиятельство иногда и

опасаетесь сами собою вводить новое, но по состоянию нашего государства, с нашим народом, рассуждая, что из него в нынешнем только веке сделано, кажется, что не трудно привести в исполнение все возможное, и скорее, нежели где-нибудь. В древние времена мы одолели турок со всею их превосходною силою; во время шведской войны, не имея почти никакого регулярства и будучи сперва побеждены, успели мы усвоить шведские приемы, научиться у неприятеля военному искусству и собственным, так сказать, оружием победили его. Теперь прусский король имеет для нас такое же значение, какое имели прежде шведы. Нам нечего стыдиться, что мы не знали некоторых полезных военных порядков и приемов, которые введены у неприятеля; но было бы непростительно, если бы мы пренебрегли ими, узнав пользу их на деле. Смело можно народ наш в рассуждении его крепости и узаконенного правительством послушания сравнить с самым добрым веществом, способным к принятию всякой формы, какую ему дать захотят. Я дружески советую вашему сиятельству вместе с господами генералами прилежно исследовать, в чем состоят наши неисправности и какими полезными учреждениями и приемами неприятельской армии надобно воспользоваться без потери времени, а если чего сами собою никак сделать не можете, о том немедленно и серьезно представьте".

В "Письме путешественника из Риги", присланном от Воронцова, говорилось, что "русский пехотный полк, идущий в бой, никогда не имеет более двух долей солдат, потому что никакая армия так не отягощена чрезвычайным багажом, как русская; обозных служителей множество; в каждой роте к провиантским телегам, к возке палаток и больных, к коляскам и амуничным фургонам приставлены солдаты, которые должны кормить лошадей, ибо малая их часть пускается в поля; сверх того, капитан под именем государственных дел к собственным своим услугам употребляет от 10 до 12 человек. Экзерциции очень медленны; первая шеренга остается всегда сидя на коленях; заряды очень плохи, и хотя строение фрунтом и введено, однако пехотный полк насилу в час построится, причем всегда происходят беспорядки. Солдаты маршируют в параде далеко друг от друга, в четыре шеренги, так что между каждым человеком остается места на шаг; у каждого полка везут на особенных телегах множество рогаток для прикрытия ими всего фрунта полка: это делается из предосторожности, чтоб конница не могла ворваться в пехоту.

Главная сила армии состоит в гренадерских полках; и действительно, все гренадеры люди плотные и сильные, но у них нет ни проворства, ни живости; также и гренадерские офицеры люди лучшие, но только на русскую статью. Я видал при гренадерских полках весьма многих разумных людей, которые в службе других государей бывали и которых я спрашивал, для чего они не вводят у себя того, что в других армиях находится хорошего; на это мне капитан Энгельгард отвечал, что он было покусился сделать начало тому в своей роте, но тем только навлек на себя недружбу большей части офицеров своего полка и потому должен был проситься о

переводе в другой полк, и стало ему это больше ста рублей, особенно потому, что немцы теперь в малом почтении. Прочая пехота чрезвычайно плоха, обер - и унтер-офицеры имеют ружья оборыш. Я не могу их пехотных полков ни с какими плохими войсками сравнить, ибо едва ли мещанский полк у нас не порядочнее делает экзерциции, нежели их пехотные полки, приведенные из Замосковья. Но всякий полк снабжен рогатками, на которые они полагают всю свою надежду.

При русской армии везут многочисленную артиллерию под ведомством генерал-лейтенанта Толстова. Мне случалось часто с ним разговаривать, и я заметил, что он искусный артиллерист. При стрельбе в цель из тридцати выстрелов только два не попали. Но этот генерал не был еще ни в одном сражении, только служил при осаде Очакова капитаном под фельдмаршалом Минихом. Толстой особенно жаловался на дурное состояние артиллерийских лошадей. Кирасирских полков всего шесть; пять должны идти в Пруссию, а шестой, называемый конною гвардиею, оставлен в Петербурге. Первые два могут еще почитаться конными полками; лошади у них посредственные, и по крайней мере немецкие. Укомплектованы они людьми и лошадьми на походе в городах Риге, Ревеле, Нарве, Дерпте, где у всех мещан казенные лошади с платою по 60 рублей за каждую взяты были, не разбирая лет и недостатков, только бы в семь футов приходили и бродить могли; держат лошадь до тех пор, пока с ног свалится. Строение их эскадронов очень медленно, а атака делается не сильнее, как рысью. Когда командовали: "Стой! оправься!", то в ином месте находилось более 12 шеренг, а в другом такие промежутки, что в них можно было въехать целым взводом. Пальба производилась целыми шеренгами, но в сильном беспорядке; весь полк в кучу съехался, многие лошади споткнулись, и люди с них попадали. Не разумеют они точности в экзерциции, и все для них равно, что один рейтар направо, другой налево, а третий вперед смотрит. Что же принадлежит до прочих трех полков, то они теперь только преобразованы из драгунских. Я завел особенную дружбу с полковником одного из них Шваненбургом, который рассказал мне, что лошади у них негодные, все русской породы, чрезвычайно пугливы, необъезженны и бешенее гусарских. Всадник не везет с собою на лошади и епанчи, но все лежит на телегах, и конный полк имеет еще более телег, чем пехотный.

Драгунских полков при армии 12, которые и названия конницы не заслуживают, да и офицеры их очень просты, так что глупые русские офицеры других полков завели у себя поговорку: "Он глуп, как драгунский офицер". Неисправности этих полков та главная причина, что они и в десять лет вместе не сводятся, но постоянно размещены по татарским, турецким и польским границам. Гусары составляют лучшую кавалерию, хотя вообще у них недостает порядка, равенства, живости и ученья; офицеры их очень мало разумеют о патрулях, рекогносцировках, засадах, ибо их ничему этому не учат. Калмыки лучше всех из нерегулярных войск. Козаки служат только для того, чтоб неприятеля беспрестанно тревожить,

присматривать за ним и держать в страхе. Командующий генерал совсем о том не думает, много или мало этого сброду пойдет в поход. Между козаками донские почитаются лучшими по искусству и храбрости. Всю надежду полагают они на предводителя своего бригадира Краснощекова; они говорят, что он колдун. Генерал-аншеф Лопухин уверял меня в этом, и когда я сказал, что в Германии колдунам не верят, то он отвечал: "Может ли статья, чтоб такому подлинному делу не верить". Я имел случай часто видаться и разговаривать с этим знаменитым Краснощековым: вся его премудрость состоит в том, что копьем или стрелой попадает в цель на пушечный выстрел, также и в том, что, по его словам, ни от кого пардона не примет. Знатности его больше всего способствовало свойство с Разумовским.

Фельдмаршал Апраксин заботится преимущественно о том, чтоб иметь у себя как можно больший штат и экипаж. В ежедневных и продолжительных моих разговорах с ним я заметил, что он не имеет необходимых для фельдмаршала теоретических познаний, практических же и не может иметь, потому что, кроме Очакова, он нигде не бывал. Вся его забота состоит в том, чтоб заставить людей своих храбро биться; о сохранении людей и лошадей он мало беспокоится. Водит его как на веревочке генерал Веймарн, человек искусный, находившийся постоянно адъютантом при генерале Кейте; он имеет обширные теоретические познания в военных науках, и русские считают его да генерала Ливена оракулами. Генерал-аншеф Лопухин в военном деле малоискусен. Главные его занятия - еда, питье и карты. Генерал-аншефа Ливена нечего считать, потому что тяжкая болезнь мешает ему иметь разумные мысли. По причине долгой его службы русские считают его божком. Он великих дел не совершит, что я приметил из его разговоров с генералом С. Андрэ, который врал ему невероятную дичь, а тот всему верил. Генерал-аншеф Броун слабого духа и нигде не служивал, кроме России. Генерал-поручик князь Голицын никогда не помышлял о воинском деле, он с самых молодых лет находился при дворе и потом был резидентом в Гамбурге. Генерал-поручик Ливен считается очень искусным, но он не в милости у Апраксина, с родственником которого побранился. Генерал-майор князь Долгорукий слывет очень храбрым, но малоискусным. Генерал Вильбоа молодой, но очень способный офицер; впрочем, он сам мне признался, что при нынешних порядках у него пропадает охота. "Черт их возьми, - сказал он мне, - здесь надобно притворяться таким же дураком, как и все, иначе всех сделаешь себе неприятелями". Граф Румянцев тоже молодой человек, употребивший много труда, чтоб сделать себя способным к службе, и действительно имеет обширные теоретические познания, одним словом, это самый искусный русский генерал; главный недостаток его - излишняя горячность. Генерал-майор Панин сам мне говорил: "Зачем меня в генералы произвели? Я их о том не просил; я доволен, когда могу полк обучать". Князь Любомирский пустой хвостун. Фельдмаршал всю свою надежду полагает на полковника Бюлова, перешедшего в русскую службу из

саксонской; об нем отзываются, что это вертопрах, но способный стравить между собою всех жителей земного шара".

Фермору писали, чтоб он занимал зимние квартиры в бранденбургских землях и действовал наступательно против Дона; а он еще в августе начал внушать Воронцову, что необходимо пробираться на зимние квартиры - к Польше! "Ныне, - писал он 23 августа из-под Ландсберга, - ныне в армии людей от 35, а с легко раненными до 40000; но притом в генералах и штаб-офицерах большой недостаток, лучшие выбыли. Полевая артиллерия находится в хорошем состоянии, только зарядом и половинного числа против комплекта не будет; к тому же искусных офицеров, бомбардиров и фузелеров очень недостаточно. На получение впредь провианта никак надеяться нельзя, потому что по переходе прусской армии за Одер как города, так и мужики являются ослушными, выбегают из домов своих и по лесам от козаков отстреливаются, следовательно, тот же точно казус является, который в прошлом году настоял: легкое войско от разорения земли никоим образом удержать невозможно. Упряжки как под артиллерию, так и под обозом по наступлении осеннего времени вседневно в слабость приходят. А если реку Варту оставить, или и по ней, но на одном месте стоять, то и вовсе лошадей поморить можно, а люди без лошадей какую службу отправлять могут? Артиллерии и амуниции возить не на чем будет. Из этого милостиво заключить можете: не заставит ли меня и весь генералитет крайняя нужда подаваться небольшими маршами вверх по реке Варте или Нетце к магазинам нашим на Вислу и тем сберечь армию и многочисленных раненых не оставить в неприятельских руках".

Но на военном совете, держанном 7 сентября, решено было, что оставаться в бранденбургских землях нельзя, идти прямо к Висле - навлечь гнев императрицы, а потому надобно избрать среднее - идти в Померанию, стать лагерем у Старгарда и послать отряд войска для захвачения Кольберга, приморской крепости, важной для подвоза войска и съестных припасов из России. Решение совета было приведено в исполнение: армия расположилась у Старгарда. Здесь 23 сентября держан был военный совет, в котором Фермор предложил на обсуждение: так как месяц октябрь уже наступает и начинаются жестокие осенние ветры с дождями, в здешних открытых и подобных степи местах лесу нет, дров достать негде, люди, стоя в лагере, терпят немалую нужду и лошади по недостатку полевого корма приходят в изнурение, то нужно ли армию держать непременно в этих местах и как долго? Не лучше ли податься к реке Драге, около которой более надежды к получению полевого корма и дров? Решили: все тяжелые обозы, художонную регулярную и нерегулярную кавалерию, пеших гусар и козаков вместе с больными отправить к Висле, а с армиею держаться на прежних местах, пока время и обстоятельства позволят. На требования из Петербурга, чтоб действовать против графа Дона, Фермор отвечал, что напасть на неприятеля, который держится всегда в неприступных лагерях, имеет превосходную кавалерию и артиллерию, убийственные действия которой еще в свежей памяти, - нельзя, не

подвергая войска крайней опасности, да если бы даже и удалось его разбить или одним движением вперед оттеснить за Одер, то все же пришлось бы возвратиться в Померанию, потому что около Одера, от Кистрина до Швета, нельзя найти никакого пропитания. На упрек в несостоятельном описании Цорндорфской битвы Фермор отвечал, что за пылью и дымом нельзя было рассмотреть движения полков и распоряжения их командиров. Относительно краткости донесений отвечал, что нет времени писать подробнее вследствие беспрестанных движений армии, ненастья, рекогносцировок: ни одна бумага не выходит из канцелярии без его просмотра, ни одно входящее дело, кроме него, никем не распечатывается.

В начале октября недостаток в лесе около Старгарда заставил Фермора перейти на берег реки Драги; отсюда армия двинулась далее к Висле на зимние квартиры. В Петербурге должны были помириться с этим, хотя выражали сожаление, что Дона не разбит и, таким образом, кампания кончилась без славы; еще более жалели о том, что Кольберг не был взят: отправленный Фермором генерал Палмбах долго стоял под городом и принужден был возвратиться без успеха. Относительно зимних квартир Фермору предписывалось учредить кордон от Торна до Эльбинга, как было в прошлом году. На это предписание Фермор отвечал, что он не преминет его исполнить, хотя прежде для сохранения славы русского оружия взял было твердое намерение расположиться с армиею кордоном в Померании и ожидать приближения шведской армии, а так как Померания сильно истощена пребыванием в ней двух армий, то еще вскоре после Цорндорфского сражения заключил он контракт с жидом Барухом на поставку 25000 четвертей хлеба по рекам Нетце и Варте. На это позднее уведомление Фермор получил ответ: "Сожаление наше о том тем больше умножается, что сие ваше намерение весьма поздно нам открыто, и вы доныне всегда представляли, что в Померании остановиться никак невозможно; иначе мы приложили бы все старание всячески облегчить вам это предприятие". Не были довольны и распоряжением Фермора о покупке хлеба у данцигского купца Верника. "Мы, - говорилось в рескрипте, - твердое намерение приняли снабжать нашу заграничную армию всяким хлебом и овсом из нашей империи, ибо, как бы ни была высока ему здесь цена и как бы дорог провоз за границу ни был, употребленные на то деньги в государстве останутся". Несмотря на то 25 ноября, в день восшествия на престол Елисаветы, Фермор получил Андреевскую ленту. Остались, по-видимому, без действия и нареkania иностранцев. После Цорндорфской битвы саксонский принц Карл прислал Воронцову длинное письмо с обвинениями против главнокомандующего: гусары и козаки употребляются не так, как следует; держат их при армии, тогда как надобно рассылать их в разные стороны для наблюдения за неприятелем и для содержания его в постоянной тревоге. Обоз огромный, который требует 30000 подвод и отнимает у армии более 4000 солдат. Рядовые очень трудолюбивы и в работе неутомимы, но мало обучены военному делу и мало между ними дисциплины. Фермор сделал великую ошибку,

потерявши понапрасну много времени под Кистрином. Для сражения выбрал самое дурное место, несмотря на увещания его, принца Карла. После сражения слишком поспешно отступил к Ландсбергу, также несмотря на советы принца Карла и генерала С. Андрэ. Фермор не умеет распорядиться учреждением магазинов, не имеет твердости и решительности, слишком недоверчив; главное несчастье его в том, что вверил себя молодому человеку - полковнику Ирману, исправляющему должность генерал-квартирмейстера. Генерал С. Андрэ также жаловался на Фермора, что не призывает его на военные советы; шведский майор барон Армфельд так описал Цорндорфское сражение, что неприятель, по словам Фермора, злее выдумать не мог. "Я нижайше прошу, - писал Фермор Воронцову, - от сего злого человека армию избавить, а если бы возможно, и от всех господ волонтеров, которые ничего другого в минувшую кампанию не делали, как только веселились и на охоту ездили; меньше было бы расхода и пустых вестей. Можно бы больше верить тому, кому вся армия поверена и кем справедливый журнал ведется. Мне эти господа своими ветреными затеями и догадками в минувшую кампанию столько беспокойства делали, что я не знал, куда от них деваться и как секретные дела сохранить".

20 декабря был составлен для Фермора план кампании будущего года; он состоял в следующем: действовать наступательно в Померании и Бранденбургии или Неймарке; чем раньше начать кампанию, тем лучше; ускорить занятием Кольберга, так, чтобы весною или первыми летними месяцами был там такой запас провианта и других потребностей, который бы отнимал всякое опасение насчет недостатка; шведов склонить к осаде Штетина и сильно помогать им при этом; по реке Одере действовать так, чтоб только прикрывалась эта осада; если мира заключено не будет, то будущие зимние квартиры расположить по Одере; занять Берлин, если время и случай позволят; главнейшее дело - скрыть этот план от неприятеля. Так как мы имеем в виду только вспоможение союзникам и ослабление короля прусского, а не завоевание Померании или Неймарка, то, если неприятель соберет на самых границах своих большую армию, с нас будет довольно приблизиться к нему, держать его в страхе и не допускать обратиться в другую сторону. Напасть на него должно только в таком случае, когда он окажется слаб или будет известно, что ждет подкрепления и тогда сам нападет. Начать кампанию нужно рано и быстро, чтоб до прибытия прусских сил занять необходимые места и отвлечь короля прусского и облегчить венский двор, если б Фридриху II удалось в самом начале кампании победить фельдмаршала Дауна. Правда, венский двор или граф Даун поворотом своим минувшего лета в Саксонию вместо обещанного похода к Франкфурту-на-Одере или Берлину не заслуживал бы таких забот о его сохранении; но надобно признаться, что если венский двор будет ослаблен или принужден к невыгодному миру, то дела наши и интересы потерпят столько же, как и его собственные, и все понесенные до сих пор убытки и труды пропадут понапрасну. Занятие Кольберга надобно почитать главным предприятием всей кампании: без него нельзя ни

помогать шведам во взятии Штетина, ни армии нашей иметь в Померании надежное пропитание, ни занять там зимних квартир. Это единственный порт, через который можно получать водою все потребное.

Кампания 1758 года кончилась неудачно, и в Петербурге не могли не досадовать на австрийцев, которые не сделали ничего для русского войска ни до Цорндорфской битвы, ни после нее. Русский двор был недоволен венским, а последний складывал вину на Францию. Эстергази сообщил Воронцову рескрипт Марии-Терезии от 19 октября, в котором говорилось: "Бывшие по сие время в воинских делах затруднения и худые успехи преимущественно произошли оттого, что Франция искреннего совета нашего не послушала и вместо того, чтоб послать от 30 до 40000 войска в наши наследные земли и немецкие дворы содержать в спокойствии одною обсервационною армиею на Рейне, опуталась войною с Ганновером и этою ошибкою не только истощила свои финансы, привела в упадок флот свой и претерпела чувствительные уроны в Америке и Германии, но и много потеряла относительно прежнего значения своего внутри и вне Европы, не упоминая о том, что в решениях французского двора оказывается некоторая робость и слабость. При таких обстоятельствах французское министерство думает, что к получению ожидавшихся Франциею выгод мало и даже вовсе никакой надежды не остается, а торговля и флот подвергаются опасности совершенного разорения; думает оно, что, когда для нас, для России и Саксонии война окончится благополучно и каждая из этих трех держав вытащит занозу у себя из ноги, Франция, напротив, останется с своею занозою и не получит никакого вознаграждения за все труды и расходы. Мы со своей стороны находим, что такое опасение французского двора не без основания, а для других союзников наших оно могло бы иметь опасные следствия. С начала нынешнего года Франция многократно представляла, что тягость войны становится для нее несносною и потому надобно думать о мире. Мы отвечали, что вопрос не в том, надобен ли мир, но какой мир. Так как этот ответ не может удовлетворить французское министерство, то наша обязанность прежде всего условиться с нашею верною союзницею российскою императрицею, какими средствами удержать французский двор от преждевременных помышлений о мире. Прусские силы не так близки к России, как к нам; однако, пока они не уменьшатся, Россия будет находиться в беспрестанной опасности, особенно когда Пруссия воспользуется турецкою войною или уничтожит существующую форму правления в Швеции и заключит с этою державою тесный союз. Опыт уже показал, что многие и великие державы совокупными своими силами ничего против Пруссии сделать не могут; какого же успеха можно надеяться в одиночной борьбе с нею? Сверх того, было бы крайне несправедливо, если б Саксония ничем не была вознаграждена за претерпенные ею неслыханные бедствия. Предосудительный мир лишил бы нас и союзников наших влияния в общей системе политических дел, и все же в мирное время мы были бы принуждены содержать многочисленные войска. Так как российский двор нашему эрцгерцогскому дому естественный союзник, то мы полагаем

главную надежду на совет ее величества императрицы и желаем быть уведомлены о намерениях ее относительно будущего замирения". "Правда, Франция сделала большую ошибку, - говорилось в русском ответе, - но Франция же старалась и поправить свою ошибку: она отказалась от занятия Ганновера, тогда как это занятие было бы ей очень выгодно при будущем замирении с Англиею; ее старанием Швеция вступила в войну с Пруссиею; по соглашению с французским же двором и Дания собрала значительное войско в своих германских областях. Притом своею ошибкою Франция еще более затянулась в войну, чем прежде думала. Ее императорское величество всегда полагала и полагает, что Франция склонилась содействовать ослаблению короля прусского, потому что ей были обещаны приобретения в Нидерландах, которые уравнивали для нее усиление австрийского дома. Императрица-королева пожертвовала Нидерландами, чтоб избавиться навсегда от опасного неприятеля - короля прусского; с тою же целью императрица российская согласилась на приращение королевства Шведского. Эта цель так хорошо составлена, что, чем больше Франция имела силы и кредита склонить шведский и датский дворы, тем больше принуждена она неотменно держаться обязательств своих с императрицею-королевою и тем меньше помышлять о скором примирении. Но пусть Франция не примет в рассуждение того, что заключением невыгодного мира она безвозвратно потеряет сделанные ею военные издержки; пусть найдет средство извинить себя пред шведским и датским дворами в том, что вовлекла их в войну; но не может же она не предвидеть, что Англия без короля прусского на мир не согласится, и легко себе представить, каковы будут английские претензии и как силен станет король прусский, когда прежние союзники Франции, видя ее слабость, должны будут перейти на сторону Пруссии, войти в зависимость от нее; из общих отзывов французского двора, что война становится тягостна, несносна, что надобно думать о скорейшем заключении мира, нельзя еще непременно заключать, чтоб Франция имела решительное намерение настаивать на мир. Впрочем, императрица по особенной дружбе своей к императрице-королеве берет на себя представить посильнее французскому двору причины, по которым миром торопиться ненадобно. Мнение императрицы состоит в том, что начатую королем прусским войну надобно продолжать до того времени, пока Всевышнему угодно будет праведное оружие благословить совершенными успехами и, низложив гордость, на одном самолюбии основанную, дозволить всем обиженным достойное воздаяние. Что до военных операций принадлежит, то надобно смотреть, чтоб та сторона, которой посчастливится, старалась пользоваться своими успехами, не оглядываясь на другую, ибо, как бы ни было одинаково у всех намерение, обстоятельства никогда одинаковы быть не могут, а король прусский тем пользуется, когда видит, что одна армия, одержав над ним победу, дожидается, чтоб и другая то же сделала".

Во Франции Бестужеву в начале года приходилось выслушивать жалобы на отступление Апраксина. Когда он жаловался аббату Берни на поведение Брольи в Варшаве, тот отвечал, что Брольи выедет из Польши и тем камень

преткновения отстранится и что теперь надобно думать не о таком пустяке, но каким бы образом остановить успехи короля прусского, ибо австрийцы, потерявши в последнюю кампанию около 45000 лучшего войска, теперь не в состоянии против него действовать, одним словом, Фридрих II пришел в такую силу, что не только союзникам, но и всей Европе стал опасен; он, будучи очень умен, счастлив и предприимчив, может при таких обстоятельствах легко завоевать Богемию и взять верх в Германии, также сделать королем в Польше брата своего и предписывать всем законы по своему произволу, а с шведами управиться ему уже нетрудно будет, только каково-то будет после другим? Поэтому очень и очень жаль, что фельдмаршал Апраксин безо всякой законной причины отступил с поспешностию и дал возможность Левальду пройти в Померанию, чем причинен общему делу такой вред, что и поправить дело скоро нельзя.

Но от обвинений скоро должны были перейти к оправданиям; русская армия опять двинулась и заняла собственную Пруссию, а французская отступила за Везер. Людовик XV счел нужным успокоить Елисавету собственноручным письмом, в котором объяснял этот поступок также недостатком в съестных припасах; король уверял императрицу, что теперь он еще более намерен употребить все силы, чтоб принудить нарушителя всеобщего покоя к уважению имперских уставов и утвердить всеобщую тишину на твердом и справедливом основании, и что он, король, никогда не отступит от союза. В ноябре опять жалобы аббата Берни Бестужеву на неудачные действия русских генералов. "Мне непонятно, - говорил аббат, - каким образом Кольберг не мог быть взят; кроме неискусства и оплошности начальствующих нет ли еще здесь какой тайной причины? Осаждавшие Кольберг войска никогда не имели у себя достаточного числа амуниции, присылалось ее к ним всего дня на три, много на пять. Шведский генерал писал графу Фермору, что он от него находится только в двух маршах расстояния и что он может доставить русскому войску всякое продовольствие; несмотря на то, граф Фермор удалился от него. Мы ясно видим истинное желание императрицы подать помощь своим союзникам, можем полагаться и на храбрость русских солдат, но жаль, что повеления императрицы не всегда должным образом исполняются".

Это было последнее заявление аббата Берни; в конце года он был сменен в управлении иностранными делами герцогом Шуазелем. Первым делом нового министра было открыть Бестужеву, что чрез датский двор сообщено было английскому, не захочет ли он заключить мир с Франциею без короля прусского; но получен был решительный отказ. "В здешней казне, - доносил Бестужев, - приметен немалый недостаток в деньгах; в народе явна бедность; торговля и мануфактуры приходят в упадок, мореплавание стеснено; народ сильно ропщет; несмотря на то, для нужд государственных в публике кредит всегда есть". Лопиталь из Петербурга дал знать своему двору о ноте Эстергази относительно желания Франции заключить мир. Шуазель объявил Бестужеву по приказанию короля, что его величество будет свято и ненарушимо соблюдать все обязательства с своими

союзниками и заключит мир только с общего их согласия. Австрийский посол граф Штаремберг уверял Бестужева, что на Шуазеля положиться можно, потому что он склонен более к продолжению войны, чем к заключению какого-нибудь невыгодного мира.

Относительно Англии в Петербурге не имели надежды, чтоб она заключила отдельный мир с исключением короля прусского; здесь больше всего заботились о том, чтоб английская эскадра не являлась в Балтийское море на помощь Пруссии против России и Швеции.

В начале года Голицын, донося, что герцог Ньюкестль не очень предан Пруссии, прибавлял, однако, что в настоящее время в Англии трудно благонамеренному министру "идти против быстроты фанатического всей почти нации пристрастия к королю прусскому"; прибавлял также, что основное правило английской политики - кто враг Франции, тот друг Англии - и что намерение английского двора теперь ясно: стараться сделать Пруссию сильнейшею державою в Германии вместо Австрии, союз с которою расторгнут. Англии нет дела до того, какая держава будет сильнейшею в Германии, лишь бы она была в тесном союзе с нею против Франции: сюда должно присоединить и химерический титул защитника протестантской религии, присвояемый Фридриху II. Голицыну велено было потребовать от лондонского двора прямого ответа, не разумеется ли Россия в числе общих неприятелей, против которых английский двор в своей декларации обещает помогать королю прусскому постоянно и сильно; но английское министерство уклонялось от этого ответа под предлогом неполучения обстоятельных сведений о русских отношениях от своего посла в Петербурге Кейта; опасались высылать эскадру, не желая решительным разрывом с Россией повредить своей торговле и притом раздражить Швецию и Данию; с другой стороны, не хотели прямо сказать, что не пошлют эскадры, чтоб поддержать Россию подолее в страхе и тем оказать пользу Фридриху II. Занятие русским войском собственной Пруссии произвело впечатление в Лондоне; здесь начали внушать датскому посланнику, что его двор не должен равнодушно смотреть на такое усиление России.

Внушения, делаемые в этом смысле полякам, имели последствием одни разговоры. 27 января князь Волконский обедал у коронного гетмана графа Браницкого. После обеда хозяин отвел гостя в сторону и начал говорить: "Удивительно, сколько беспорядков произвело стоящее теперь в областях республики русское войско!" "Если и в самом деле произошли какие-нибудь беспорядки, - отвечал Волконский, - то полякам жаловаться не для чего: императрица обещала неоднократно назначить нарочных комиссаров, которые вместе с польскими комиссарами должны исследовать все происшедшее и удовлетворить действительно обиженных". Потом Браницкий распространился в жалобах на свое правительство. "Здесь двор в Польше правительствует самодержавно, - говорил он, - и хотя я сам начинать ничего не намерен, но надобно опасаться, чтоб раздраженное

шляхетство не составило конфедерации". "Если действительно так, - отвечал Волконский, - то надобно потребовать у двора перемены поведения, и мы в качестве министров императрицы всероссийской по гарантии 1717 года всячески будем стараться подкреплять справедливые требования". Этот ответ не понравился гетману, и он сказал: "Отец нынешней императрицы был только посредником, а не порукою, но смертью короля Августа II договор 1717 года потерял силу". "Если так, - возразил Волконский, - то и все ваши права и вольности, утвержденные прежними королями, потеряли силу". Браницкий оставил этот предмет, но с сердцем начал говорить, что Россия вмешивается во внутренние польские дела: русский канцлер прислал письмо к литовскому гетману Радзивилу относительно выборов в будущий трибунал. Волконский отвечал, что польские уставы нисколько не нарушаются, если соседственная и дружественная держава дает добрые советы какому-нибудь благонамеренному магнату.

7 февраля Волконский и Гросс были приглашены на конференцию к коронному маршалу графу Белинскому, у которого нашли канцлера коронного Малаховского, гетмана Браницкого и надворного маршала графа Мнишка. Белинский представил список обид, которым подверглись польские подданные от русских, особенно жители Брацлавского воеводства. Так как обиды были нанесены гайдаками, то Волконский отвечал: "Вы, господа министры, сами должны признаться, что гайдамацкие шайки состояются из разных беглых, и преимущественно польских подданных, следовательно, сами поляки должны смотреть, как бы их воздерживать от разбоев. Гайдакам легко разбойничать, потому что польское войско расположено в 20 милях от границы, а если его подвинуть к самым границам, то это будет лучшим средством к прекращению разбоев". Поляки должны были признаться, что гайдамацкие нападения происходят не от одних русских жителей; но жаловались, что русские пограничные комиссары уклоняются от следования дел. Волконский возражал, что, напротив, литовские пограничные суды ни малейшей пользы не приносят, и потому не удивительно, если взаимные жалобы ежедневно умножаются; вся вина лежит на польских комиссарах, которые ни в Литве, ни в Польше в дела не вступают. "Что же делать? - отвечали министры. - Литовские комиссары, не получая жалованья, должностей своих исправлять не могут. Дай Бог, чтоб будущий сейм состоялся; на нем мы употребим все старания к принятию таких мер, которыми однажды навсегда пресекутся все пограничные жалобы".

Несмотря на то что после падения канцлера Бестужева князь Волконский получил удостоверение, что преступление дяди нисколько не изменит милостивого расположения императрицы к племяннику, без его ведома было улажено между русским и польским дворами важное дело избрания королевского сына принца Карла в курляндские герцоги. 17 июля Волконский и Гросс писали, как удивились они, получив из Митавы известие, что секретарь канцлера Малаховского Алое хлопочет там о

выборе принца Карла в герцоги. Зная Алое за интригана, оба министра обратились к графу Брюлю с вопросом, сделано ли Алое такое важное поручение. Брюль прямо отвечал, что сделано, и сделано не без ведома и согласия русского двора. Волконский и Гросс писали, что так как они наставлены помогать, чтоб в Курляндии все оставалось без перемены, то просят снабдить их новым во милостивейшим указом. Этот новый искатель герцогства Курляндского был третий сын короля Августа. Мы его видели в русской армии, читали отзыв Фермора о его поведении во время Цорндорфской битвы и отзыв самого Карла о русской армии и ее главнокомандующем. Но прежде отправления своего в армию принц Карл приезжал в Петербург, с тем чтоб выпросить себе у императрицы герцогство Курляндское. 24 мая он присылал к Воронцову напомнить о своей просьбе, причем объявлял, что "предает себя совсем в матернее призрение ее императ. величества и от высочайшей ее щедроты ожидает основания будущего своего благополучия и всю свою надежду в том полагает и что состоит единственно во власти ее императ. величества пожаловать его Курляндским княжеством и учинить счастливым его самого и все его потомство". Воронцов подал относительно этой просьбы такое мнение: если теперь прямо отказать принцу, то этим усилится печальное состояние короля польского, приведется польско-саксонский двор в большее уныние и уменьшится в нем надежда, какую он всегда питал на сильную помощь и покровительство императрицы. С другой стороны, нельзя предвидеть, как кончится настоящая война: быть может, при общем мире Курляндию понадобится употребить для достижения какой-нибудь другой полезной цели.

Первое соображение взяло верх, тем более что второе не имело достаточной силы: при общем мире хотели приобрести Восточную Пруссию, с тем чтобы променять ее Польше на Курляндию, но при этом принц Карл переместился бы только из Митавы в Кенигсберг. 29 августа Волконский и Гросс сообщили королю, что императрица приказала находящемуся в Митаве советнику канцелярии Симолину действовать заодно с Алое для доставления принцу Карлу герцогства Курляндского. Король с радостным лицом отвечал, что не находит слов для выражения своей благодарности и что сын его обязывается вечною благодарностью императрице. Сильное неудовольствие произвело это событие в Петербурге при молодом дворе. Великий князь по своим прусским привязанностям и без того ненавидел саксонский дом. Теперь он написал Воронцову, что императрице следовало бы прежде позаботиться о принце его, голштинского, дома, чем о принце Карле, что его третий дядя принц Георг-Людвиг имеет больше права на покровительство императрицы, и потому он, великий князь, предлагает его в герцоги курляндские. Воронцов показал письмо императрице, и та велела отвечать отказом. Великая княгиня благодаря внушениям Понятовского также не любила саксонский дом и в отдаче Курляндии принцу Карлу видела несправедливость (относительно Бирона), и несправедливость, вредную для России, ибо это усиливало только польского короля насчет польской свободы. Разумеется,

такое мнение было высказано Екатериною в беспокойном состоянии духа, ибо трудно было себе представить, как бы умирающий Август III сделался самодержцем потому только, что третий сын его стал герцогом курляндским. Но любопытно, что Прассе в донесениях к своему двору по поводу курляндского дела уже высказывает подозрение, что Понятовский, обнадуженный покровительством будущих правителей России, сам мог иметь в виду курляндский престол, если не более высшее место.

После Цорндорфской битвы оказался сильный недочет в генералах, и князь Волконский получил приказание немедленно отправиться в действующую армию.

Гросс остался один быть свидетелем сейма, который начался 21 сентября. Накануне открытия сейма Гросс писал, что гетман Браницкий чрез своих эмиссаров нашел способ тайно внести в инструкции послам не позволять ни о чем говорить послам прежде выхода последнего русского солдата из областей польских и депутаты воеводств Бржеского и Волынского на публичных аудиенциях уже представили королю, чтоб он постарался освободить польские области от русских войск и вытребовал вознаграждение за причиненный ими убыток; но коронный канцлер именем королевским отвечал им, что в Польше русского войска нет: для вознаграждения убытков императрица давно уже прислала комиссаров, от прохода русских войск обыватели получили значительные суммы, и действия этих войск служат для безопасности самой же Польши.

На четвертый день сейма волынский депутат Подгорский объявил, что не согласен, чтоб сейм приступал к каким-нибудь решениям, пока владения республики не будут очищены от русского войска, после чего уехал из Варшавы и этим разорвал сейм. Никто не сомневался, что это была проделка гетмана Браницкого. Надобно было как-нибудь помирить его с двором, и наконец в этом успели; с русской стороны было также сильное средство: беспокойному гетману дали орден Андрея Первозванного. По разорвании сейма для решения важных дел оставался сенатус-консилиум. Тут хотели провести курляндское дело; но Чарторыйские объявили, что конституция запрещает сенатус-консилиуму вмешиваться в государственные дела, что они, Чарторыйские, по своей чести и совести и для сохранения своего кредита в нации никак на это позволить не могут, но что король для решения одного курляндского дела может созвать чрезвычайный сейм, успеху которого они всячески будут содействовать. Но двор, опираясь на согласие двух третей присутствующих сенаторов, хотел провести курляндское дело в сенатус-консилиуме. 19 октября собрался этот сенатус-консилиум из 20 сенаторов; 16 из них объявили свое согласие на возведение принца Карла в герцоги курляндские; но каштелян краковский, граф Понятовский, воевода русский князь Чарторыйский, гетман польный князь Мосальский и воевода сендомирский Велепольский предложили о необходимости чрезвычайного сейма; тщетно им говорили, что при обычном срывании сеймов откладывать до них какое-нибудь дело

или вовсе его уничтожить - все равно; они настаивали на своем, и каштелян краковский объявил, что и большинством голосов в Сенате курляндское дело все же не получит законного решения. "Теперь еще никому подлинно неизвестно, - писал Гросс, - почему эти сенаторы, на которых мы особенно полагались, сопротивляются королевскому намерению, хотя вообще приписывают этот поступок их зависти; по примирении графа Брюля с гетманом Браницким первый министр посредством брака сына своего с дочерью воеводы киевского соединяется с фамилиею Потоцких". Явилось и другое затруднение: курляндский делегат Шеппинг предложил герцогскую корону принцу Карлу, но курляндские обер-раты прислали в Варшаву протест, что делегат поступил против своей инструкции, предложив кандидата-католика, тогда как в инструкции ему прямо написано, чтоб он требовал в герцоги лютеранина. Двор не хотел принимать этого во внимание, утверждая, что нет никакого устава, который бы определял исповедание курляндского герцога. Наконец, в полном собрании сенатус-консилиума курляндское дело прошло согласно с королевским желанием, не подписались только семь членов.

После этого и Гросс был отозван из Варшавы и определен членом Иностранной коллегии; на его место чрезвычайным посланником и полномочным министром в Польшу назначен генерал-поручик Воейков, бывший рижским вице-губернатором. Но до самого отъезда Гросс имел любопытный разговор с князем Чарторыйским, канцлером литовским. Чарторыйский спросил Гросса, доносил ли он императрице о причинах, почему они противились решению курляндского дела в сенатус-консилиуме; Гросс отвечал, что доносил, но императрица не считает этих причин достаточными. "Жаль, - сказал Чарторыйский, - со временем императрица отдаст мне справедливость, когда увидит, что по этому примеру польские короли впредь могут пытаться все важные дела вершить в Сенате без сеймов, чем вся польская конституция извратится". 28 декабря принц Карл торжественно получил от отца инвеституру на Курляндское герцогство.

Из Константинополя Обрезков в начале года доносил, что все старания английского посла Портера заставить Порту объявить войну России и особенно Австрии оказываются безуспешными. Вообще Обрезков был очень доволен состоянием дел в Турции, хвалил кротость нового султана, распорядительность великого визиря Раиб-паши, даже благонамеренность хана крымского, за которую советовал киевскому губернатору посылать ему подарки по примеру астраханского губернатора; о французском после Вержене Обрезков писал, что он так усерден к общим высоким интересам, как только можно ожидать от истинного союзника. Но с половины года Обрезков стал доносить об открывшемся вдруг у султана воинском духе и о значительных военных приготовлениях в придунайских областях. При этом посланник успокаивал императрицу. "Опасность не так велика, - писал он, - судя по свойству здешнего правления и войска, можно без всяких чрезвычайных издержек и не ослабляя мер, принятых против

короля, прусского, в одну, много в две кампании привести Порту в совершенное раскаяние и посрамление". После того Обрезков доносил, что султан действительно хочет войны с Россией, но визирь и муфтий, главы мирной партии, противятся войне всеми силами.

Если султан искал предлога к войне, то Россия не должна была подавать ему его, и 18 мая подписан был рескрипт Иностранной коллегии: 1) как митрополиту Василию Петровичу, так и прочим черногорцам вообще объявить, что усердие их народа к нашей империи и желание вступить к нам в подданство заслуживает оному всегдашнее наше благоволение и милость; но что как теперь всякая формалита могла б быть огласкою и весьма бедственною по великой близости окружающих их неприятелей и по толикому нашей империи отдалению, то сие дело оставляется до будущих лучших времен, а теперь они удовольствоваться имеют уверением неперменного нашего благоволения. 2) В удостоверительный знак того отправить с ними ко всему черногорскому народу лист за подписанием нашего вице-канцлера, по примеру тех, каковые напредь сего за подписанием канцлера графа Головкина отправляемы были; в одном листу изобразить, токмо в генеральных терминах, что мы чрез приехавших сюда как митрополита и прочих, так и чрез наших полковника Пучкова и премьер-майора Степана Петровича, с удовольствием уведомясь о усердии черногорского народа к нашей империи, паче же о твердости к православной вере, захотели о том засвидетельствовать наше благоволение и уверить, что милость наша к нему всегда будет неотъемлема, на знак которой и посылается от нас при том ко всему народу тысяча наших золотых портретов. 3) На знак нашей особливой милости повелеваем дать сердарю Вукотичу да воеводе Пламенацу золотые коронования нашего медали в 50 червонных каждому да воеводе Юрашковича сыну Петру такую же золотую медаль в 35 червонных. 4) На исправление возвратного пути выдать всем им на раздел две тысячи рублей. 5) Что до митрополита Петровича принадлежит, то ему особливо дать 1000 рублей.

Митрополит просил, что для учреждения между черногорцами доброго порядка и приведения их в единогласие необходимо давать ежегодно до 15000 рублей; сверх того, чтоб кто-нибудь из русских дипломатических агентов отправлен был для пребывания в Черную Гору. На первое императрица согласилась, но на вторую просьбу дан был ответ, что нынешние обстоятельства не дозволяют этого. Даже полковник Пучков, находившийся в Триесте для принятия и препровождения выходивших в русскую службу черногорцев, отозван был в Россию, чтоб не подать подозрения туркам, а черногорцы дорогу уже узнали, могут и сами отправляться в Россию. Митрополит Петрович просил назначить жалованье определенным в Кадетский корпус детям черногорских бояр, чтоб они могли держать при себе людей и на другие издержки. В корпусе оказалось 13 черногорцев, и Сенат приказал выдавать каждому по 15 рублей в год.

Но из этих молодых черногорцев десять человек явились в Сенат, и двое из них, Рафаил и Иван Петровичи, подали челобитную, что с ними вместе в реестре написаны Филипп Петрович да Петр Радонич, которые этими фамилиями назвались напрасно: один из них - Филипп Шарович, а не Петрович, другой - Петр Станишич, а не Радонич. Шарович из турецкого города Подгорицы, а Станишича фамилия не первенствующая, как Петровича, а посредственная; Филипп Шарович имеет на себе портрет Петра Великого ложно, надобно исследовать, как он мог достаться ему, бывшему турецкому рабу и художнику; просили против Петра Станишича дать старшинство и достоинство как Петровичевой, так и Вукотичевой фамилиям. Сенат велел исследовать дело Иностранной коллегии.

Со взрослыми черногорцами было еще больше хлопот. Сначала их отправили на поселение в Оренбургскую губернию, но там им не понравилось, и их надобно было переводить на юго-западную Украину. На дороге к Москве они стали буйнить: однажды собрались 2 капрала да 81 человек рядовых и пришли к квартире поручика Косецкого; один капрал вошел в комнату поручика, скинул с себя платье, бросил его и, вышед на двор, закричал команде; по этому крику все черногорцы хотели броситься в комнату к Косецкому, но были удержаны находившимися у него при денежной казне караульными; потом все, снявши с себя казенные амуничные вещи, побросали и закричали "в великом десператстве": "Больше служить в России не хотим, пойдем в свою землю!" Сенат приказал: поступить с ними по воинским регулам, потому что им уже неоднократно за прежние их продерзости было спущено по их новости, но они, не чувствуя этого, впадают еще в большие продерзости.

Из поступка черногорцев видно, что они были недовольны амуничными вещами. Воронежская губернская канцелярия приняла сукна у тамошних фабрикантов Горденина, Пустовалова и Тулинова, сукна явились ниже указных образцов и потому расценены дешевле указных цен. Главный комиссариат представил: сукна, которые оценены ниже указных цен от 3 до 10 копеек, отпустить в армейские полки, а которые дешевле от 10 до 27 копеек, те отпустить в гарнизонные полки; деньги же, оставшиеся от понижения цены, раздать полковым служителям, которые будут носить сукна, или сделать сокращение срока носки мундира. Сенат согласился, но велел сумму, равную той, которая останется по расценке, взыскать с воронежского губернатора, его товарища и секретаря.

Что касается подвозки провианта к заграничной армии из России, то в конце года купец Анисим Абросимов и компания взяли поставить в Кенигсберг и другие пограничные места муку и овес по 2 р. 59 копеек, а крупу по 5 рублей; купец Ямщиков спустил с крупы по 5 копеек. Конференция согласилась дать эту цену. Купцы ставили провиант на своем страхе, на иностранных и русских собственных и наемных мореходных ластовых судах.

Но кроме этого подвозного из России провианта на армию закупали провиант и фураж на месте, следовательно, нужно было отправлять деньги на этот предмет, равно как на жалованье войску. В половине года конференция объявила Сенату, что главнокомандующий генерал Фермор по посланному к нему кредитиву для негоцирования до миллиона ефимков ни в Данциге, ни в Варшаве охотников найти не мог; варшавский банкир Риокур прямо объявил, что такой суммы ссудить не в состоянии, данцигский банкир Верник предложил такие условия, на которые без значительного ущерба казне согласиться нельзя; а голландские банкиры Пельсы в переводе полумиллионной суммы так медлят, что до сих пор не больше 40000 червонных в Данциг к резиденту Мусину-Пушкину перевели. Генерал Фермор опасается, чтоб от недостатков в деньгах не произошло остановки в заготовлении нужных магазинов, а потому конференция рекомендует Прав. Сенату вновь приложить все старания, чтоб деньги были доставлены к армии. Сенат отвечал: 1) на жалованье войску требуемая сумма почти уже вся отправлена, осталось на весь год дослать только 149172 рубля. 2) На провиант и фураж теперь вдруг до окончания года вся сумма доставлена к армии быть не может, а скорейшее выписывание в Данциг червонцев и ефимков по нынешнему упавшему курсу убыточно. Сенат рассуждает: 1) по причине упавшего здесь вексельного курса взять заимообразно из наличного колывановоскресенского золота и серебра: золота - 30 пуд да серебра - 200 пуд, и для восстановления курса секретно послать в Голландию, за это золото и серебро готовые монеты могут быть высланы в Данциг скоро. 2) Взятые заимообразно в 1757 году из комиссариата 529162 рубля заплатить из контрибуции, наложенной на покорившиеся прусские земли. 3) Нельзя ли из синодального ведомства и новгородского архиерейского дома за оставлением там знатной суммы взять заимообразно 350000 рублей. Оказалось, что можно, и взяли: из Экономической канцелярии - 126000, из Московской синодальной конторы - 34000, из Московской типографской конторы - 20000 рублей, из новгородского архиерейского дома - 170000.

По известному нам предложению графа Петра Шувалова медная монета переделана была в более легкую, и развезено ее по городам на два миллиона рублей. По предложению того же Шувалова учреждены в Москве и Петербурге банковые конторы под именем банковых контор вексельного производства для обращения внутри государства медных денег и содержания в них баланса. Купцам, помещикам, фабрикантам и заводчикам выдавались медные деньги на векселя на годовой срок по 6 процентов, а при приеме платежа четвертую часть принимали медными деньгами и три - серебряною монетою. Капиталисты как в этот новый банк, так и во все другие отдавали деньги для приращения процентами, причем банк на свои расходы и страх получал один процент, а остальные шли капиталисту. От купцов в банк принимались медные деньги, которые в домах хранить трудно и опасно, объявляемая сумма записывалась на особой странице в главную банковую книгу в приход, вкладчику давалась расписка, и когда случится, что этот купец будет отдавать деньги

другому купцу, то оба купца шли в Банковую контору или посылали приказчиков с банковской распискою, данною первому купцу, и контора столько на его странице в расход пишет, сколько он другому купцу должен заплатить, а на остаток дает новую расписку; другой купец, если медную монету принять не желает, берет такую же приходную и расходную страницу в банковской книге; точно так же делалось, когда купец из казенного места не желал принимать медных денег: ему давалась ассигнация на Банковую контору.

При военных издержках требовались другие расходы, на которые не знали, откуда взять денег. Директор Дворянского банка донес, что по указу Сената велено выдать из конторы банка содержателю итальянской комической оперы Локателли на выписку из Италии компании и на содержание ее 7000 рублей; но теперь имеется в Банковой конторе налицо только 3000 рублей. Сенат велел остальные 4000 рублей выдать из конторы Купеческого банка. Канцелярия от строений просила на постройку Зимнего дворца 130000 рублей, а Сенат велел отпустить 20000; канцелярия представила, что этих 20000 по множеству мастеровых и рабочих очень недостаточно и если их не удовлетворить, то произойдут просьбы и утруднение ее импер. величества. Приказали: отпустить еще до 40000 руб. Но в следующем месяце фельдмаршал Бутурлин объявил, что императрица соизволила указать Прав. Сенату сыскать сумму на строение ее зимнего дома по 120000 рублей в год. Не отказывались и от мысли вывести из монастырей инвалидов и дать им особое помещение, только не в Москве, как предлагал Шаховской. Сенату был объявлен высочайший указ от 6 января, что вместо отсылки отставных военных в монастыри на пропитание для лучшего их за службы и раны содержания сыскать в Казани и близ нее какое-нибудь каменное здание; а так как известно ее величеству, что есть в Казани старый каменный дворец, то его поправить; если же не годится, то и вновь построить каменный дом и содержать отставных в таком порядке, как в европейских государствах содержат, особенно применяясь, как в Париже; а сколько было положено в монастырях на их содержание денежного и хлебного жалованья, ту сумму отсылать в новый инвалидный дом. Но где было взять денег на постройку этого инвалидного дома? Нужно было потребовать их также от Синода.

Из экономических синодальных доходов взято было 10600 рублей серебряною монетою на достройку начатой в Могилеве каменной церкви, на прибавочное для архиерейского дома жалованье и на учреждение вновь и содержание семинарии; кроме того, могилевскому епископу ежегодно отпускалось жалованья по 500 рублей. Этот епископ, Георгий Кониский, изъявил свою благодарность императрице в таком письме: "Благочестивейшая и христоробивейшая императрица, великая Елисавет! Всемиловитвейшая государыня! Получивши от в. и. величества высочайшую милость пожалованием денежной суммы на достроение церкви, на содержание семинарии и мне з людьми в добавку годового жалованья, когда дерзаю всеподлейшим писмецем раболепное в. и.

величеству донести благодарение, приходят мне в память слова старец капернаумских, которые Иисуса тощно молили за сотника некоего, глаголя: яко достоин есть, еже аще даси ему, любит бо язык наш и сонмище той созда нам. И были тии сказаннии резони к преклонению Христа не бездействительни, и поиде бо со старца теми и благотельствова сотнику. О сколько же несравненно болши резони имею к преклонению тогожде Христа Господа, что ваше и. величество не язык человек, но самого того Спаса и Благодетеля возлюбивши, на совершение Ему храма и не единого, молитвенного бо купно же и мисленного, всемилостивейше оную сумму пожаловали! Всеподданнейший раб и подножие епископ белорусский Георгий".

Несмотря на повторительные требования, Сенат не мог добиться полных и подробных сведений о приходе и расходе. Ревизион-коллегия представила отчет: с 1730 по 1757 год счетов решено 33335; начетов положено взыскать 263459 рублей, в то число взыскано 63086 рублей, осталось к 1757 году невзысканным 200372 рубля; из того числа оказалось к сложению 21911 рублей; счетов неоконченных - 17711; о приходе же и расходе, об остатке и доимке доходов, о всем государстве подробной генеральной таблицы в коллегии не сочинено за неполучением в нее из многих присутственных мест ведомостей.

В заботах об увеличении доходов разумеется, не могла быть оставлена без внимания торговля. Граф Петр Шувалов подал в Сенат предложение, что для вспоможения коммерции должно: 1) при Сенате учрежденную комиссию о пошлинах отставить, а вместо нее 2) учредить комиссию о коммерции, куда определить людей, знающих дело. 3) Велеть им рассуждать, каким образом русскую коммерцию распространить в чужестранные области, например на каком основании учредить конторы при главных наших портах, особенные для каждого товара, как разделить русских купцов компаниями; как их привлечь к производству действительного торга выпискою чрез конторы на свои имена из других государств товаров; какие взять предосторожности от контор иностранных и от их комиссионеров, чтоб они подрыву в торгах не делали, и как приохотить иностранное купечество, чтоб более торгу с нами производило. 4) Рассмотреть все русское купечество, как иностранных купцов перевести для торгу к Петербургскому порту, как из купеческих детей посылать в чужие края для коммерческих дел и кредиту; рассмотреть фабрики наши, какие нужны для государства, и о заведении новых; как посылать консулов в иностранные государства; как строить купцам корабли и ими пользоваться; казенным товарам оставаться ли в казенном содержании или быть в вольной продаже. Когда коммерция поправлена будет, тогда всю прибыль отдавать каждый год в комиссариат для замены подушного сбора, ибо народ есть главная сила государственная, и потому надобно желать, чтоб народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен. Сенат согласился на учреждение комиссии.

Тверской магистрат прислал в Сенат любопытное донесение, указывающее на положение торгового сословия в городах: все купцы в Твери вообще обедняли вследствие плохой торговли в этом городе, великих пожаров, беспрестанных через Тверь проходов и проездов и всегдашних тягостных постоев. Президент магистрата, два бургомистра и ратман платят одинаковые подати вместе со всеми другими купцами и, находясь в долговременной магистратской службе за несвободную по купечеству отлучкою, несут крайние тягости, отчего торговле их происходит большой вред. Поэтому магистрат просил, чтоб велено было президента и других членов выбирать через три года и чтоб вновь избранных к присяге приводить в Твери, не высылая в Москву в Главный магистрат. Сенат согласился. Печальное состояние дорог даже между двумя столицами, разумеется, не могло содействовать успехам торговли. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что почта из Москвы приходит дней в 12 и 13 от неисправности дороги.

Тверской магистрат жаловался на пожары. Генерал-прокурор прочитал в Сенате письмо ростовского митрополита Арсения (Мацеевича) о пожаре, бывшем в Ростове на 29 октября: сгорел дом архиерейский, церкви, других домов - 65, магистрат и лавки. Для утешения пожара от Воеводской канцелярии и от магистрата не было приложено никакого старания, не только не понуждали обывателей с барабанным боем, ни одной трещотки не было. В доме архиерейском за неимением денег исправить сгоревшего строения нечем; на содержание архиерейского дома с церквами положено только 2014 рублей в год, а в канцелярию Синодального экономического правления из дому его епаршеских и вотчинных доходов платится 4395 рублей, и потому нельзя ли оставить эти доходы в его доме на 5 лет? Сенат согласился.

Старый хозяйственный быт монастырей и архиерейских доходов, владение населенными землями очевидно, клонились к падению: сознаваемая необходимость устроить благотворительные учреждения на более прочных и правильных основаниях, с одной стороны, и недовольство, частые восстания монастырских крестьян - с другой, были явными признаками этого падения. С 1748 года тянулось дело о вятских крестьянах, которые, называя себя черносошными, отписались от архиерейского дома и монастырей в количестве 11582 душ. Следователь решил дело в пользу духовенства, и Сенат с ним согласился. Но Сенат не мог исполнить требование Синода в другом случае - в деле об известном уже нам возмущении крестьян Новоспасского монастыря. Сенат, велел назначить следственную комиссию, в которой должно было заседать и духовное лицо. Синод утверждал, что никакой комиссии не нужно, ибо назначалась комиссия от Синода по жалобам тех же крестьян, но они к следствию не явились и мимо Синода осмелились утруждать императрицу жалобами; нужно их наказать без всякой комиссии. Сенат отвечал, что следственная комиссия необходима, потому что без нее нельзя узнать, кто пушние заводчики; а что крестьяне не пошли в синодальную комиссию, в том их

обвинять не следует, ибо комиссия была учреждена в Новоспасском монастыре, а крестьяне жаловались на управителя монастырского. Крутицкий епископ жаловался, что крестьяне белевского Преображенского монастыря своевольничают, оброков не платят, посольского монаха посадили в воду; а Белевская канцелярия норовит им, и белевский воевода из-за взяток освободил 14 человек без наказания.

Естественно, должна была явиться мысль освободить государство от печальной необходимости укрощать крестьянские восстания и монастыри освободить от неприличной им обязанности управлять крестьянами. Финансовые нужды должны были также поддерживать эту мысль. Еще 30 сентября 1757 года императрица приказала Сенату и Синоду подумать о том, чтоб монастырские вотчины отдать в управление офицерам и ввести большую правильность в распределении доходов; в Синод поэтому делу сообщен был экстракт из протокола конференции. Синодальный копиист Иванов дал копию с этого экстракта конференции синодальному крестьянину Сумотчикову, а тот дал копию крестьянам Троицкого Сергиева монастыря Давыду и Сидору Кононовым, Ивану Дорофееву, Никите Иванову, Конону Петрову. Крестьяне стали разглашать, что все монастырские вотчины отписаны на государыню; их перехватывали как лжеразглашателей, и Юстиц-коллегия произнесла строгий приговор. Но Сенат смягчил его: копииста Иванова бить плетьюми и написать в солдаты, а не ссылать на галеры, как приговорила Юстиц-контора, потому что Иванов копию с экстракта списал не из взяток, но по одному знакомству, простотою и не знал о намерении Сумотчикова отдать ее троицким крестьянам. Крестьян Коконова с товарищами не казнить смертию, потому что они ни в каких вымышленных делах и затеях не оказались, а поступали по данной им копии с экстракта конференции и по словесному объявлению Сумотчикова, чего они, как народ простой и неграмотный, выразуметь не могли; а за то, что они не дали знать о копии своим властям и приводили свою братью в непослушание, наказать их и Сумотчикова плетьюми.

Надзиратель над вышневолоцкими каналами Сердюков жаловался на ямщиков, что они били в набат и три раза приступали к его дому; комиссия нашла, что виноват сам Сердюков, который озлобил ямщиков тем, что самовольно бил их плетьюми, тогда как должен был отсылать их к начальству, и потому он должен был платить штрафу 100 рублей на госпиталь. В Тамбовском, Шацком, Козловском и других уездах продолжались восстания между крестьянами; они поднимались целыми деревнями и семьями и бежали, причем грабили помещиков; дело не обходилось и без кровопролитных схваток; пойманные показывали, что идут на речку Ахтубу и в Астрахань для поселения к казенным виноградным садам и к шелковому заводу, где их принимают поручики Паробич и Циплетев и берут за это с них по два и по три рубля; на Ахтубе поселилось до 3000 человек с женами и детьми да в Астрахани до 2000. Наместник Калмыцкого ханства Дундук-Даши прислал жалобу на поселившихся у Царицына на шелковых заводах, что они строят город и

сильно обижают издавна живущих там калмыков, грабят их; Низовая соляная контора донесла, что прием и укрывательство беглых происходит от подьячего Саратовской воеводской канцелярии Щербакова.

Петр Ив. Шувалов думал, что крестьянские восстания можно предупреждать соблюдением некоторых предосторожностей. Он говорил в Сенате: "К каким печальным последствиям влечет недоверие поселян относительно посылаемых к ним указов! Два только примера, о которых я здесь намерен упомянуть, заставляют изыскивать средства к сохранению людей от жестоких наказаний и пролития крови, тем более что крестьяне подвергаются этим наказаниям не по злонамеренности своей, а по простоте: первый случай представляет дело о крестьянах Демидова; кровопролитное позорище было следствием недоверия крестьян к указу, находившемуся в руках начальника команды. Второй случай: Починковская поташного правления контора представила в Сенат, что из тамошних крестьян некоторые, считая фальшивыми письменные сенатские указы, приказывали работникам, наряженным на машинные суда, строящиеся для возки соли, требовать печатного указа; а так как его им не объявлено, то из них 333 человека, прибавив конвойного унтер-офицера, бежали, с тем чтоб убить до смерти судью и земского старосту: первого - за наряд в работу, а другого - за послушание этому наряду - и, прибежавши в Починки, избили старосту смертельно, за что по усмирении подверглись жестокому наказанию; но наказание не может на будущее время предотвратить таких вредных приключений, тогда как дело требует немногого, т. е. вместо письменного указа объявлять печатный и соблюдать некоторые другие предосторожности. Сенат согласился.

Составление нового Уложения продолжалось, хотя, по мнению Сената, шло медленно. Сенат требовал от комиссии сочинения Уложения, чтоб остальные части оканчивались как можно скорее и для того члены комиссии присутствовали бы постоянно в указанные часы. Комиссия отвечала, что она определила неоконченные главы III части сочинять немедленно и над приказными людьми иметь надзор и взыскание стат. советнику Юшкову; а четвертой части главы сочинять профессору Штрубе вместе с бургомистром Вихляевым, а до окончания этих глав членам комиссии не для чего собираться ежедневно. Сенат, получив этот ответ, приказал: комиссии прилагать крайнее старание об окончании остальных частей и глав Уложения и членов ее к тому неослабно понуждать.

Продолжалась и другая комиссия об однодворцах. У однодворцев были дворовые люди и крестьяне, и по межевой инструкции велено было их положить в такой же оклад, какой платят и сами однодворцы, и называть их однодворческими половниками. Комиссия представила, что, по ее мнению, надобно этих половников отрешать от провинциальных и воеводских канцелярий и быть им под ведением однодворческих управителей, кроме уголовных дел. Сенат согласился.

На юго-западной Украине, в Малороссии, гетман, который не знал, как вырваться из Глухова в Петербург, упорно, однако, защищался от всякого общеимперского установления, как бы оно полезно ни было. В начале года он прислал в Сенат жалобу, что Главный магистрат определил в малороссийские города для словесного суда между купцами по два человека великороссийских купцов да в Киеве, Нежине, Ромне и Борзне для протеста векселей определен публичный нотариус, тогда как он, гетман, уже просил, чтоб этого не было. Навели справку, и оказалось, что в 1754 году присланы были в Сенат из Киевской губернской канцелярии на рассмотрение сочиненные в ней пункты к пользе общенародной: 1) чтоб малороссийским и великороссийским купцам о долговых деньгах иметь суд по вексельному уставу, а не так, как теперь у них делается, а именно малороссийский купец возьмет деньги и даст по их называемый облик, и если на срок не отдаст, то производят в малороссийских канцеляриях письменные суды, которые затягиваются, и купец, давши деньги, принужден лишиться торгу или отстать от дела. 2) Для словесного суда избрать купцов. Пункты эти отосланы были Сенатом в Иностранную коллегия, в ведомстве которой находилась тогда Малороссия, а коллегия послала их к гетману с просьбою доставить о них свое мнение, и гетман прислал такое мнение, что в Малороссии суду и расправе во всех претензиях надлежит быть по силе малороссийских прав в малороссийских судебных местах, и потому просить об освобождении малороссийских обывателей от нового учреждения. Сенат приказал новое учреждение уничтожить, купцов и нотариуса из Малой России выслать. Но потом Сенату было представлено о необходимости введения словесных судов в Малороссии, и он послал об этом грамоту к гетману. Рассерженный гетман отвечал, что час от часу рождается большая темнота и затруднение в правлении дел малороссийских; виною тому неточное истолкование постановлений о малороссийском народе, на которых гетман Богдан Хмельницкий приступил под Всероссийскую державу, ибо в статьях Хмельницкого смешиваются пункты, утвержденные царем, с пунктами, которые упоминались только в разговоре между боярами и гетманскими посланцами; отчего происходят противоречия. Сенат в свою очередь рассердился и отвечал: "Какая темнота и затруднение рождаются ему, гетману, в правлений дел малороссийских и какая происходит неточность в истолковании постановлений о малороссийском народе, того Сенат из гетманского листа не усматривает, да и сам он, господин гетман, в том своем листе ни малейшего о том изъяснения не прописывает и не упоминает, кроме одного дела о словесных между купцами судах; но одного этого дела в темноту по всем малороссийским делам вменять и в затруднение в правлении малороссийских дел и в неточное истолкование постановлений о малороссийском народе почитать весьма не надлежит, ибо все подтвержденные от ее импер. величества о малороссийском народе постановления без наималейшей отмены в своей силе по всем делам содержатся быть должны. А помянутое дело к отменности постановлений о малороссийском народе ни малейше не принадлежит, наипаче же к

затруднению в правлении малороссийских дел не касается, потому что дело состоит токмо о словесных между одного купечества судах, которому по учреждении по границе таможен и производимой чрез оные не одним малороссийским, но и великороссийскими иностранным купечеством государственной коммерции необходимо быть следует, и когда все вышеупомянутые как разговорные, так и письменные пункты, во-1) при грамоте к гетману Богдану Хмельницкому посланы; 2) те ж разговорные пункты за подписанием Петра Великого еще в 1722 году прописаны и утверждены, равно с того и в 1754 году о индукте в доклад ее импер. величеству внесены и подписанием ее импер. величества руки конфирмованы, то затем и Прав. Сенат оных разговорных пунктов недействительными почесть не может, колми паче ему, господину гетману, недействительными оные представлять и о неприеме оных за основание просить не надлежало, а наконец, между разговорными и письменными пунктами противоречия никакого нет".

Гетман получил от Сената и другую неприятную грамоту, потому что предписанное в ней трудно было исполнить. Сенат приказывал, чтоб из Запорожья все беглые великорусские люди были высланы куда следует в самой крайней скорости и впредь не принимались под штрафом, ибо Военная коллегия донесла, что пойманные из бегов три драгуна показали, что они жили в Запорожье и еще таких же беглых полковых служителей там знали.

На восточной украине русские промышленники, не испуганные башкирским бунтом, продолжали разрабатывать естественные богатства. Императрице было доложено, что содержатель медных и железных заводов Иван Твердышев с товарищем своим Иваном Мясниковым первый начал искать руды и строить заводы в пустых, диких, дальних местах внутри самой Башкирии; невзирая на страх от башкирских волнений, доставил государству великую прибыль и превзошел всех прежних заводчиков, особенно выплавною меди; заплатил в казну пропадавшие деньги за разоренный башкирцами казенный Табынский завод и при заводах своих для безопасности от неприятеля построил крепости, снабдил их оружием и порохом, и все это сделал собственным иждивением, не требуя приписки крестьян, без которых почти ни один из прежних заводчиков обойтись не мог. Сенат за это представил его из податного состояния прямо в коллежские асессоры.